

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Каменская средняя общеобразовательная школа № 1
с углублённым изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза В.П.Захарченко»
Каменского муниципального района Воронежской области

Составитель: И.А.Суязова

В помощь выпускникам: зимнее сочинение

Направление 2: ДОМ



п.г.т. Каменка, 2015

Оглавление

№	Содержание	Стр.
1.	Несколько слов на тему «Что такое ДОМ?»	4
2.	Речевые клише	5
3.	Темы сочинений	6
4.	ДОМ – СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ . Схема	7
5.	Прислушаемся к мудрым	7
6.	<p style="text-align: center;">Советую прочитать</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ И.С.Шмелёв. Фрагмент повести «Лето Господне» 8 ➤ А.П.Чехов. «Ванька» 10 ➤ В.П.Распутин. «Изба» 12 ➤ И.А.Гончаров. Фрагменты главы 9 романа «Обломов» 15 ➤ Л.Н.Толстой. Глава из повести «Детство» 16 ➤ М.Рябинин «Родительский дом» (стихотворение) 17 ➤ Ф.Искандер. «Дедушкин дом» (стихотворение и фрагмент произведения) 18 ➤ И.Кохановский. «Мир дому твоему» (стихотворение) 19 ➤ И.Ходорова. «Мио дому твоему» (стихотворение) 19 ➤ В.Астафьев. «Окно» (из книги «Затеси») 19 ➤ М.Цветаева. «Вот опять окно» (стихотворение) 20 ➤ Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке» 20 ➤ С.Есенин. Стихи 23 ➤ Ю.Трифонов. «Дом на набережной» (пересказ) 24 	
7	ДОМ – РОДИНА . Схема.	27
8	Прислушаемся к мудрым	27
9	<p style="text-align: center;">Советую прочитать</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ К.Паустовский. «Мещёрская сторона» (глава «Мой дом») 28 ➤ П.М.Огнев. «Два слова – Родина и мать...» (стихотворение) 29 ➤ З.Александрова. «Если скажут слово Родина» (стихотворение) 29 ➤ А.Усачев. «Россия подобна огромной квартире...» 29 ➤ В.Н.Орлов. «Я узнал, что у меня...» (стихотворение) 29 ➤ В.Набоков. «Родина» (стихотворение) 29 ➤ А.Дементьев. «Глаза прикрою – вижу дом...» (стихотворение) 30 ➤ А.Т.Твардовский. Фрагменты поэмы «Дом у дороги» 30 ➤ В.Астафьев. «Родные березы» (из книги «Затеси») 31 ➤ В.Астафьев. «Звёзды и ёлочки» (из книги «Затеси») 32 ➤ О. Берггольц. «Мы предчувствовали полыханье...» (стих-е) 34 ➤ А.И.Солженицын. «Костёр и муравьи» (из книги «Крохотки») 34 ➤ К.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины...» (стихотворение) 35 	
10	ДОМ – ПРИСТАНИЩЕ ДУШИ . Схема.	36
11	Прислушаемся к мудрым	36
12	<p style="text-align: center;">Советую прочитать</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ И.С.Тургенев. «Повесить его!» (стихотворение в прозе) 37 ➤ А.С.Солженицын. «Матрёнин двор» (фрагменты рассказа) 38 ➤ К.Симонов. «Дом друзей» 42 	
13	ДОМ – ВСЕЛЕННАЯ . Схема	43
14	Прислушаемся к мудрым	43
15	<p style="text-align: center;">Советую прочитать</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Д.С.Лихачёв. «Космический Эрмитаж» (из книги «Письма о добром и прекрасном») 44 ➤ Н.А.Заболоцкий. «Моя мечта» (стихотворение) 44 	

➤ С. В. Михалков. «Слово Земли»	44
➤ А. Сент-Экзюпери. Фрагменты из сказки «Маленький принц»	44
➤ А. И. Солженицын. «Утёнок» (из книги «Крохотки»)	45
➤ В. Астафьев. «Ужасная дыра» (из книги «Затеси»)	46
➤ И. С. Тургенев. «Конец света» (стихотворение в прозе)	48



ЧТО МЫ РОДИНОЙ ЗОВЁМ

ПЕСНЯ

Что мы Родиной зовём?
 Дом, где мы с тобой живём,
 И берёзки, вдоль которых
 Рядом с мамой мы идём.

Что мы Родиной зовём?
 Поле с тонким колоском,
 Наши праздники и песни,
 Тёплый вечер за окном.

Что мы Родиной зовём?
 Всё, что в сердце бережём,
 И под небом синим-синим
 Флаг России над Кремлём.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ НА ТЕМУ «ЧТО ТАКОЕ ДОМ?»

ДОМ - слово многозначное...

Это семейный очаг. Это символ надёжности и безопасности, уюта и тепла. В родительском доме мы появились на свет, здесь живут наши близкие и любимые люди, здесь прошло наше детство, здесь мы повзрослели... Тёплые воспоминания о прожитых в родительском доме мы храним всю жизнь. В родном доме мы получаем первые уроки нравственности... Не зря его зовут колыбелью, причалом, пристанью... В родном доме раскрывается истинное "Я" человека, именно здесь он сбрасывает все свои маски, за которыми скрывается в обществе. Дома нет смысла притворяться, потому что в нем тебе ничто не угрожает.

Это малая родина. В родном городе или посёлке мы открываем для себя мир, мы учимся любить природу, познаём людей...

Это Родина. Большой дом для всего народа. Именно Родина-мать зовёт на помощь своих сыновей и дочерей в страшные годы войны...

Это пристанище души, потому что красота и тепло дома тесно связаны с красотой души его хозяев. Это духовное начало наших помыслов...

Это Земля, и каждый уголок её – частичка большой и прекрасной планеты, которую мы должны любить так же, как родительский дом.

ФИПИ: «Дом»– направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в жизни сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и большого, соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего.

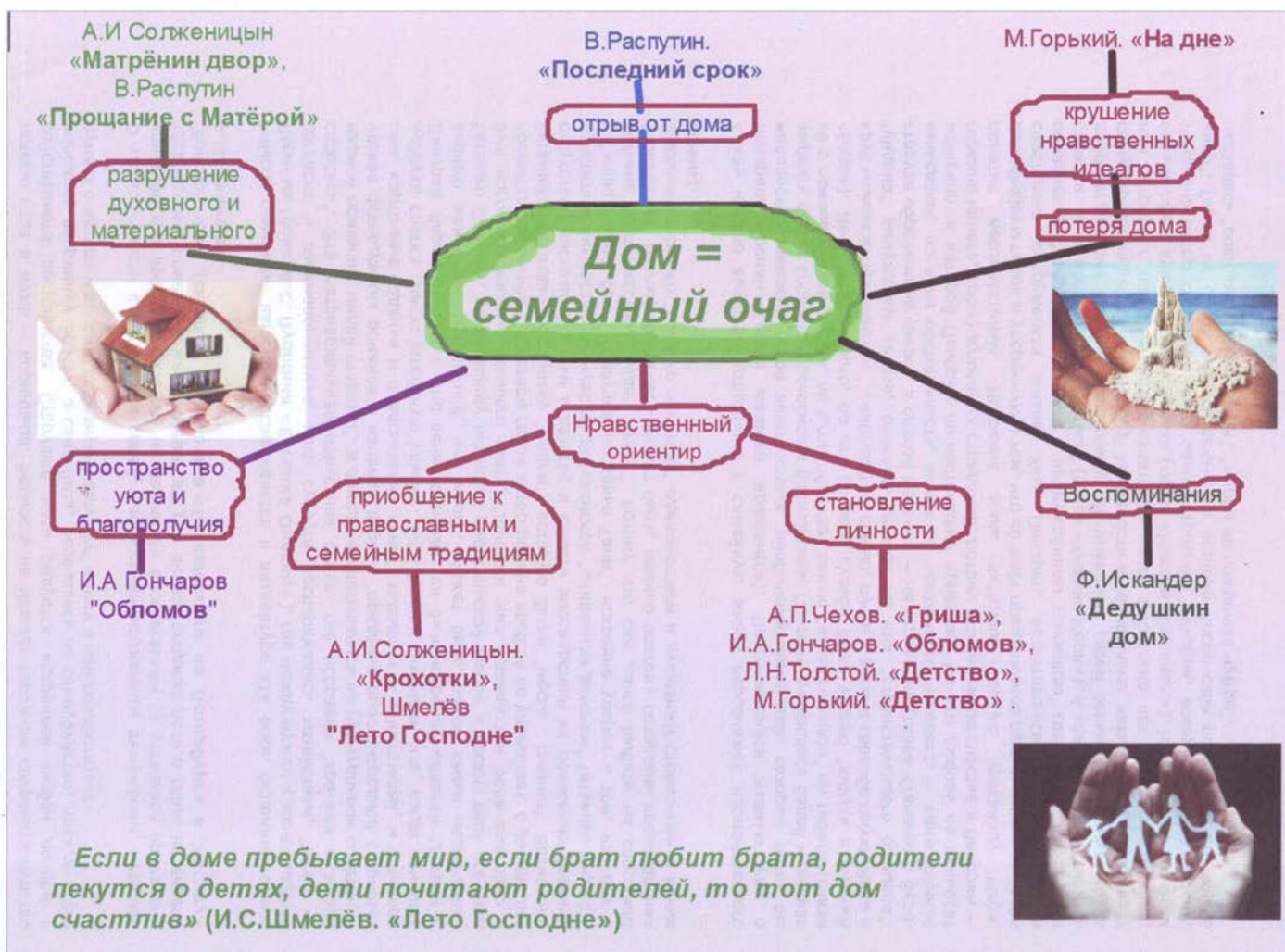
РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ

Клише для вступления или для оформления тезиса	Передо мной тема сочинения «...», которая заинтересовала меня тем, что...
	Могу предположить, что ... (тезис)
	Позволю себе высказать свою точку зрения
Переход к основной части	В правильности такой точки зрения меня убеждает художественная литература.
	Давайте вспомним произведения художественной литературы, в которых раскрывается тема.
	Правильность своей точки зрения могу доказать, обратившись к ...
	Обратимся к произведениям художественной литературы
	За примерами давайте обратимся к произведениям художественной литературы
	Размышляя о ..., я не могу не обратиться к произведению ФИО, в котором...
Внутри основной части (переход от одного аргумента к другому)	Можно вспомнить и другое произведение, в котором тоже говорится (поднимается вопрос) о том, что...
	Можно привести и другой пример.
	В качестве второго аргумента обратимся к произведению...
	Эта же тема рассматривается и в произведении...
Заключение	К какому же выводу я пришёл, размышляя над темой «...»? Думаю, надо...
	И в заключение мне хотелось бы сказать, что...
	Все приведенные мной аргументы, основанные на читательском опыте, убеждают нас в том, что...
	Приведенных аргументов, как мне кажется, уже достаточно для того, чтобы утверждать:
	Заканчивая рассуждение на тему «...», нельзя не сказать, что люди должны...
	Обобщая сказанное, хочу сказать, что...

ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ

Семейный очаг	Дом – это Родина	Дом – пристанище души	Дом - Вселенная
«Дом - это там, где твое сердце». (Плиний старший)	Мой дом – моя Родина	«Главный-то дом человек в душе у себя строит» (Ф.Абрамов)	«Человек-то мал, а дом его – мир» (Марк Варрон)
Родительский дом – источник нравственности	«История проходит через Дом человека, через всю его частную жизнь» (Ю.М.Лотман)	«Наши дома — это зеркальное отражение нас самих». (Д. Линн, основатель Международного института тренировки душ).	«Мир людей - что рожки улитки. Как бы ни боролись за главенство его обитатели, разве дано им обладать вселенной»? (Гуань Инь Цзы)
«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». (Лев Толстой)	Отчизну кто клянет — с семьей тот порывает. (Пьер Корнель)	Берегись всего того, что не одобряется твоей совестью. (Л.Н.Толстой)	Дом – это личная Вселенная человека, его маленькая галактика.
Дом наших отношений	«Россия подобна огромной квартире...» (А.Усачёв)	«Старая мудрость говорит: не плачьте об умершем - плачьте о потерявшем душу и совесть». (В. Распутин)	«Мы не унаследовали Землю у своих родителей, а взяли её взаймы у своих детей». Франц Майер
Человек начинается с детства...	«Вставай, страна огромная...» (В.Лебедев-Кумач)	«Уважай в себе и других человеческую личность!» (Д.И.Писарев)	
Идеальный дом... Какой он?	Любимый уголок России	Дом – пристанище уставшей души...	Дом родной – это малая вселенная...
Бездомья страшный удел...	«Родина-мать зовёт!»	Дом друзей – это тепло и доброта	Голубая планета Вселенной...
Что несёт за собой утрата дома?	Человек без роду и без племени		

ДОМ = СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ



ПРИСЛУШАЕМСЯ К МУДРЫМ...

Максим Горький, русский писатель. Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и молока Матери.

Роберт Фрост. Дом - это то место, в котором нас всегда принимают.

В.А. Сухомлинский. Годы детства – это прежде всего воспитания сердца.

Генри Ван Дайк. Каждый дом, где обитает любовь и гостит дружба, - это и в самом деле дом, т.е. единственный приют, ибо в нем отдыхает сердце.

А. Сент-Экзюпери. Великая истина открылась мне. Я узнал: люди живут. А смысл их жизни в их доме. Дорога, ячменное поле, склон холма разговаривают по-разному с чужаком и с тем, кто здесь родился. Дом противостоит пространству, традиции противостоят бегу времени.

Василий Александрович Сухомлинский, русский педагог. Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. От старости и смерти никто не может закрыть двери своего дома, но он плохих детей дом могут уберечь сами дети.

В.Г. Распутин (повесть «Пожар»). «Чтобы человеку чувствовать себя в жизни сносно, нужно быть дома... Вот: дома. Прежде всего – дома, а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве, где заданное место и служба. Затем дома – в избе, на квартире, откуда, с одной стороны, уходишь на работу и, с другой – в себя. И дома – на родной земле».

Ф.А. Абрамов. («Дом»). «Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет».

В. Распутин. Четыре опорки есть у человека в жизни: дом с семьёй, люди, с кем вместе править праздники и будни, и земля, на которой стоит твой дом. И все четыре – одна важнее другой...

Н.Крицук. Детство – это заговор возможностей, заканчивающийся рождением характера.

Виктор Петрович Астафьев, русский писатель. Чудо в тепле за печкой живёт. Чудо слушает сказки, вой в трубе, мохнатое, доброе, домовитое. Чудо – пуховый платок покойной матери на больных плечах. Чудо – руки бабушки, её ворчание и шумная ругань. Чудо – встречный человек. Чудо – его голос, глаза, уши. Чудо – это жизнь.

Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик

Если есть у тебя для житья закуток –
В наше подлое время – и хлеба кусок,
Если ты никому не слуга, не хозяин –
Счастлив ты и воистину духом высок.

Цицерон. Не по дому следует почитать хозяина, а дом по хозяину.

ПРОСТО ФРАЗЫ...

Родные стены – это счастливые улыбки родителей, окружающих меня любовью и покоем, это ласковые бабушкины руки, гладившие меня по волосам или предлагавшие удивительно вкусный горячий пирожок.

Покой родного дома и каждого его уголка – это та тихая заводь, в которой я могу укрыться и подумать о времени и о себе, проанализировать свое поведение в критической для меня ситуации.

«Человек без роду и племени», - так говорят в народе о людях, забывших дорожку к родному дому, потерявших свой язык, а значит, и то главное, что составляет человеческую личность.

Дом – символ надежности и безопасности, уюта и тепла. Именно здесь раскрывается истинное "Я" человека, именно здесь он сбрасывает все свои маски, за которыми скрывается в обществе. Дома нет смысла притворяться, потому что в нем тебе ничто не угрожает.

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ...

ДОМ = СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

И.С.Шмелёв.

Фрагмент главы «Чистый понедельник»

(из повести «Лето Господне»)

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да, сегодня Великий Пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал, и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый Понедельник, и все у нас в доме чистят. Серенькая погода, оттепель.

Капает за окном - как плачет. Старый наш плотник - "филенщик" Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет - заплачет. Вот и заплакала - кап... кап... кап... Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченный пряник "масленицы" - игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок, - пропала радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж "душа начнется", - Горкин вчера рассказывал, - "душу готовить надо". Говеть, поститься, к Светлому Дню готовиться.

- Косого ко мне позвать! - слышу я крик отца, сердитый.

Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, - редко кричит отец. Случилось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера был прощенный день. И Василь-Василич простил всех нас, так и сказал в столовой на коленках - "всех прощаю!". Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар, - священный. Я и теперь его слышу, из дали лет. Священный... - так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет тазом. И надо мной колышет.

- Вставай, милоч, не нежся... - ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. - Где она у тебя тут, масленица-жирнуха... мы ее выгоним. Пришел Пост - отгрызу у волка хвост. На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут - "душе моя, душе моя" - заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий Пост. И Горкин совсем особенный, - тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое, - чистый сегодня понедельник! - только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так "по закону надо". И грех смеяться, и надо намазать голову, как Горкин. Он теперь ест без масла, а голову надо, по закону, "для молитвы". Сияние от него идет, от седенькой бородки, совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой.

Такие - угодники бывают. А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он засушил себе черных сухариков с солью, и весь пост будет с ними пить чай - "за сахар".

- А почему папаша сердитый... на Василь-Василича так?

- А, грехи... - со вздохом говорит Горкин. - Тяжело тоже переламываться, теперь все строго, пост. Ну, и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как последние дни пришли... по закону-то!

Читай - "Господи-Владыко живота моего". Вот и будет весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.

В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед красноватой иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере, зажгли постную, голого стекла, лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда зажигает отец, - по субботам он сам зажигает все лампадки, - всегда напевает приятно-грустно: "Кресту Твоему поклоняемся, Владыко", и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е... Воскресе-ние Твое Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит, от этих слов. И видится мне, за вереницею дней Поста, - Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается, и надо готовиться к той жизни, которая будет... где? Где-то, на небесах. Надо очистить душу от всех: грехов, и потому все кругом - другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рассказал, что теперь - "такое, как душа расстается с телом". Они стерегут, чтобы ухватить душу, а душа трепещет и плачет - "увы мне, окаянная я!" Так и в ифимонах теперь читается.

- Потому они чувят, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден, чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дожидаться. И не помышлять, понимаешь. Про земное не помышляй! И звонить все станут: помни... помни!.. - поокивает он так славно.

В доме открыты форточки, и слышен плачущий и зовущий благовест - по-мни.. по-мни... Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется - постный благовест. Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина, - "Красавица на пиру", - закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: "греховная и соблазнительная картинка!" Но отцу очень нравится - такой шик!

Закрыта и печатная картинка, которую отец называет почему-то - "прянишниковская", как старый дьячок пляшет, а старуха его метлой колотит.

Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только страшно, Великий Пост: раскатишься - и сломаешь ногу. От "масленицы" нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, - великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, - такая прелесть. Я хватаю щепотками, - как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост.

Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, "кресты" на Крестопоклонной... мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар - лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то "коливо"! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая "рязань"... а "грешники", с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и там, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все - другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, - весь двор завалят. Поедем на "постный рынок", где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был... Я начинаю прыгать от радости, но меня останавливают:

- Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.

Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается, Сын Божий! А Бог-то как же... как же Он допустил?..

Чувствуется мне в этом великая тайна - Б о г.

«Лето Господне» - это автобиографический роман (1933–1948), основанный на воспоминаниях детства. Первоначальное название - «Солнце живых».

Ваня Шмелёв живёт в доме, в котором любят каждого человека, заботятся о нём. Весь дом наполнен любовью, теплом, нежностью.

А.П.Чехов.

**Ванька
(рассказ)**

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику

Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65-ти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливаясь веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посребренные инеем, сугробы. Всё небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:

«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или шей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька pokrивил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, всё равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пушают, а раз я видал в одной лавке на

окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал некоторые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченный орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатъевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед крикал, и мороз крикал, а глядя на них, и Ванька крикал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатъевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатъевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке.

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

Валентин Распутин

ИЗБА

Изба была небольшой, старой, почерневшей и потрескавшейся по сосновым бревнам невеликого охвата, осевшей на левый затененный угол, но оставалось что-то в ее поставе и стати такое, что не позволяло ее назвать избенкой. Без хозяйского догляда жилье стареет быстро - постарела до дряхлости и эта изба с двумя маленькими окнами на восток и двумя на южную сторону, стоящая на пересечении большой улицы и переулка, ведущего к воде, прорытого извиристо канавой и заставленного вдоль заборов поленницами. Постарела и осиротела, ветер дергал отставшие на крыше тесины, наигрывал по углам тоскливыми голосами, жалко скрипела легкая и щелястая дверь в сенцы, которую некому и не для чего было запирать, оконные стекла забило пылью, нежить выглядывала отовсюду - и все же каким-то макарон из последних сил изба держала достоинство и стояла высоконоско и подобранно, не дала выхлестать стекла, выломать палисадник с рябиной и черемухой, просторная ограда не зарастала крапивой, все так же, как при хозяйке, лепили ласточки гнезда по застрехам и напевали-наговаривали со сладкими протяжными припевками жизнь под заходящим над водой солнцем.

Считалось, что за избой доглядывает сама хозяйка, старуха Агафья, что это она и не позволила

никому надолго поселиться в своей хороmine. Мнение это, не без оснований державшееся в деревне уже много лет, явившееся чуть ли не сразу же после смерти Агафьи, отпугивало ребятишек, и они в Агафьином дворе не табунились. Не табунились раньше, а теперь и некому табуниться, деревня перестала рожать. Заходили сюда, в большую и взлобисто приподнятую ограду, откуда виден был весь скат деревни к воде и все широкое заводье, по теплу старухи, усаживались на низкую и неохватную, вросшую в землю чурку и сразу оказывались в другом мире. Ни гука, ни стука сюда, за невидимую стену, не пробивалось, запустение приятно грело душу, навевало покой и окунало в сладкую и далеко уводящую задумчивость, в которой неслышно и согласно беседуют одни только души. "Ходила попечалиться к старухе Агафье", - не скрывали друг перед другом своего гостеванья в заброшенном дворе живые старухи. Ко всем остальным из отстрадававшегося на земле деревенского народа следовало идти на кладбище, которое и было недалеко, сразу за старым аэродромом, поросшим теперь травинкой, а к старухе Агафье в те же ворота, что и при жизни.

Почему так сложилось, и сказать нельзя. Агафья до затопления нагретого людьми ангарского берега жила в деревне Криволицкой, километрах в трех от этого поселка, поднятого на елань, куда, кроме Криволицкой, сгрузили еще пять береговых деревушек. Сгрузили и образовали леспромхоз. К тому времени Агафье было уже за пятьдесят. В Криволицкой, селенье небольшом, стоящем на правом берегу по песочку чисто и аккуратно, открывающемся с той или другой стороны по Ангаре для взгляда сразу, веселым сбегом, за что и любили Криволицкую, здесь Агафьин род Вологжиных обосновался с самого начала и прожил два с половиной столетия, пустив корень на полдеревни. Агафья в замужестве пробыла всего полтора года - за криволицким же парнем Ефимом Мигуновым, прозванным за бесстрашие Чапаем, грубоватым, хорохористым, во все встречающим, с лихостью выкатывающим на всякое приключение свои круглые зеленые глаза на белобрысом лице. Его взяли в армию, там он задолго до войны и пропал смертью, может быть, и храброй, но бестолковой. От него осталась дочь, названная Ольгой, девочка затаенная, самостоятельная, красивая, в пятнадцать лет сразу после войны она уехала в город в няньки, в семнадцать устроилась на конфетную фабрику, перешла квартировать в общежитие и попала под безжалостные жернова городской перемолки. Сладкая ее жизнь возле конфет, которой так завидовали криволицкие девчонки, скоро стала горькой: прижила без замужества девчонку, закружилась в бешеном вихре, пока не сошла красота, и спилась... еще одно доказательство того, что у одного стебля корни дважды не отрастают. В то время это было редкостью, а для деревни и вовсе невиданное дело - бабье пьянство. От боли и работы Агафья рано потускнела и состарилась, похоронила вскоре друг за другом отца с матерью, одного брата убила война, второй уехал вслед за женой на Украину, сестра тоже вышла замуж за дальнего мужика и уехала - к сорока годам осталась Агафья в родительском доме одинешенька.

Была она высокая, жилистая, с узким лицом и большими пытливыми глазами. Ходила в темном, по летам не снимала с ног самошитые кожаные чирки, по зимам катанки. Ни зимой, ни летом не вылезала из телогрейки, летом, закутываясь от мошкар, от которой не было житья, пока не вывели ее, чтоб не кусала наезжих строителей Братской ГЭС. Всегда торопясь, везде поспевая, научилась быстро ходить, прибежкой. Говорила с хрипотцой - не вылечила вовремя простуду и голос закрипел; что потом только ни делала, какие отвары ни пила, чтоб вернуть ему гладкость - ничего не помогло. Рано она плюнула на женщину в себе, рано сошли с нее чувственные томления, не любила слушать бабьи разговоры об изменах, раз и навсегда высушила слезы и не умела утешать, на чужие слезы только вздыхала с плохо скрытой укоризной. Умела она справлять любую мужскую работу - и сети вязала, и морды для заездков плела, беря в Ангаре рыбу круглый год, и пахала, и ставила в сенокосы зароды, и стайку могла для коровы срубить. Только что не охотилась, к охоте, даже самой мелкой, ее душа не лежала. Но ружье, оставшееся от отца, в доме было. Невесть с каких времен держался в Криволицкой обычай устраивать на Ангаре гонки: на шитиках от Нижнего острова заталкивались наперегонки на шестах против течения три версты до Верхнего острова и дважды Агафья приходила первой. А ведь это не Волга, это Ангара: вода шла с гудом, взбивая нутряную волну, течение само себя перегоняло. На такой воде всех мужиков обойти... если бы еще 250 лет простояла Криволицкая, она бы это не забыла.

Но дни Криволицкой были сочтены. Только-только после войны встали на ноги, только выправились с одежкой и обужонкой, досыта принялись стряпать хлеба, а самое главное - только

избавились от мошки и коровы вдвое-втрое прибавили молока, а люди стянули с голов сетки из конского волоса и с надеждой заглядывались вокруг, что бы такое еще сыскать для справноного житья, - вдруг перехват всего прежнего порядка по Ангаре, вдруг кочуй! И все деревеньки с правого и левого берегов, стоявшие общим сельсоветом, сваливали перед затоплением в одну кучу.

Агафья хворала, когда пришло время переезжать. Болезнь у нее была одна - надсада, от других она выкрепилась в кремень. В те же годы накануне затопления впервые за всю ангарскую историю стали проводиться медосмотры, на специальном пароходе с красным крестом сплавлялись от деревни к деревне в низовья врачи и каждого-то поселянина в обязательном порядке выстукивали и высматривали. Агафью и выявили как больную. И все лето, как муха о стекло, билась она о больничные стены в районе, запуганная докторами, которые продолжали настаивать на лечении, страшая последствиями, но не меньше того снедаемая бездельем. Криволицкая ставилась на новом месте своей улицей, но вставали дома в другом порядке, и этот порядок все теснил и теснил ее запаздывающую избу неизвестно куда. Агафья еще больше похудела, на лице не осталось ничего, кроме пронзительных глаз, руки повисли как плети. Вот это была надсада так надсада! Иногда она вскидывалась, пробовала бунтовать, но ее уже знали, знали, что на нее можно прикрикнуть, и тогда она, лишенная здесь всякой опоры, униженно распластанная на кровати, как на пыточном ложе, опять смирялась и умолкала. Здесь, в больнице, приснился Агафье сон, поразивший ее на всю оставшуюся жизнь: будто хоронят ее в ее же избе, которую стоймя тянут к кладбищу на тракторных санях и мужики роют под избу огромную ямину, ругаясь от затянувшейся работы, гора белой глины завалила все соседние могилы и с шуршанием; что-то выговаривающим, на что-то жалующимся, обваливается обратно. Наконец избу на тросах устанавливают в яму. Агафья все видит, во всем участвует, только не может вмешиваться, как и положено покойнице, в происходящее. Избу устанавливают, и тогда выясняется, что земли выбрано мало, что крыша от конька до половины ската будет торчать. Мужики в голос принимают уверять, что это и хорошо, что будет торчать, что это выйдет памятником ее жизни, и Агафья будто соглашается с ними: труба и должна находиться под небом, по ней потянет дым. Там тоже согреться захочется.

На грубых тракторных санях, точно таких, какие снились, представлявших из себя настил на двух волочимых по земле бревнах, спереди затесанных, чтобы не зарывались в дорогу, и везла она разобранный избу на новопоселенье уже в конце августа, едва воротясь из больницы и еще не набегав залежавшиеся ноги. Но и когда было набегивать? На свою улицу она уже опоздала и за дурной знак приняла, что приходилось ей отпочковываться от криволицких. День после сердитого холодного утренника был ярким и звонким, дорога шла меж лоскутных полей, засеянных ячменем и горохом, и развозюкана была такими же поездами широко и безжалостно - хоть пять саней выстраивай в ряд. Да и то сказать - в последний раз приносили урожай эти поля. Каждую выбоинку, каждый бугорок на них Агафья знала лучше, чем родинки и вмятинки на своем теле, - вручную пахала, вручную жала рожь и ячмень и крючила горох, вручную, обдирая и обжигая руки, тянула осот. Нет, родное скудным не бывает. И вот последнее, все последнее, и стыдно смотреть на золотистые переливы ячменя с пузатыми тугими колосьями, точно от него, от хлебного дела убежала деревня, сманенная заработками на лесе.

Есть события, которые человек не в состоянии вместить в себя осознанно, в которые он вталкивается грубо, неудержимо, как всякое малое в большое. Тупо сидела Агафья в кабине старого гроыхающего трактора без дверок, тупо, оглушенно, высовывая и задирая голову, оглядывалась на ползущий позади, стянутый тросами воз с тем, что было ее избой и что оказалось теперь таким жалким и дряхлым, что и поверить нельзя было, как из этой груды хлама можно опять поднять дом. Тракторист, рябой мужик из Ереминой, из деревни с левого берега напротив Криволицкой, что-то время от времени кричал ей, спрашивая, - она не слышала и не хотела слышать, тоже разбитая, бесчувственная, сдавленная во все тело грубыми стяжками, и только вздыхала часто, дыша одними вздохами, и рукой показывала трактористу, чтобы он не торопился. С трудом вспомнила Агафья его имя - Савелий Ведерников, и то лишь после того, как представила его избу, стоящую с ангарской стороны улицы, возле ручья под двумя громадными темными елями, вспомнила, что жена его, баба задумчивая, снулая, принялась рожать поздно, к сорока, и при третьих родах умерла.

Так давно это было, что и веры нет воспоминаниям. Все было давно вплоть до этого дня, взошедшего с какой-то иной стороны, чем всегда.

Перебрались через речку, подъезды и дно которой уже без Агафьи были вымощены гатью, высоко запрокинув перед саней, ставя их чуть не на дыбы, вползли на умятый яр. Агафья с зачастившим и пропадающим сердцем запросила остановку. Савелий, не заглушая трактора, пошел в кусты, а Агафья взобралась на воз, пристально и бессмысленно глядя, как с плаха и бревен стекает грязная вода, с той же бессмысленностью переводя взгляд на речку, которая никак не могла успокоиться и все гоняла и гоняла взбученную рваную волну поперек от берега к берегу. Подошел Савелий, сладко зевнул, показывая, как у молодого, ровные крепкие зубы, завернув голову к солнцу, медленными движениями пополоскал в нем свои рябины, пятнавшие лицо. Заноса одни ноги, не прихватывая руками, как при восходе на бугор, поднялся на сани и присел рядом с Агафьей. Был он старше Агафьи лет на пять, но был еще крепок, не истрепан жизнью. Про него нельзя было сказать, что он среднего роста, - рост в нем не замечался, а замечалась ладная, вытянутая точно по натягу фигура, ловкая и удобная. Ему, должно быть, близко было к шести десяткам, при шаге он заметно вдавливал ногу в землю, с головы не снимал брезентовой самошитой кепки пролетарского покроя, придающего вид мастера своего дела, вглядываясь, щурил глаза, имел привычку ладонями натирать лицо, взбадривая его, во всем же остальном, не показывая усталости, тикал да тикал как часы.

И.А.Гончаров

Фрагменты главы 9 (роман «Обломов»)

Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.

Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела его к образу.

Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.

Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.

- Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? - вдруг спрашивал он среди молитвы.

- Пойдем, душенька, - торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.

Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.

.....

Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.

Ребенок не дождался предостережений матери: он уж давно на дворе.

Он с радостным изумлением, как будто в первый раз, осмотрел и обежал кругом родительский дом, с покривившимися набок воротами, с севшей на середине деревянной кровлей, на которой рос нежный зеленый мох, с шатающимся крыльцом, разными пристройками и надстройками и с запущенным садом.

Ему страсть хочется взбежать на огибавшую весь дом висячую галерею, чтоб посмотреть оттуда на речку: но галерея ветха, чуть-чуть держится, и по ней дозволяется ходить только "людям", а господа не ходят.

Он не внимал запрещениям матери и уже направился было к соблазнительным ступеням, но на крыльце показалась няня и кое-как поймала его.

Он бросился от нее к сеновалу, с намерением взобраться туда по крутой лестнице, и едва она поспевала дойти до сеновала, как уж надо было спешить разрушать его замыслы влезть на голубятню, проникнуть на скотный двор и, чего боже сохрани! - в овраг.

.....

Смотрит ребенок и наблюдает острым и переимчивым взглядом, как и что делают взрослые,

чему посвящают они утро.

Ни одна мелочь, ни одна черта не ускользает от пытливого внимания ребенка; неизгладимо врезывается в душу картина домашнего быта; напивается мягкий ум живыми примерами и бессознательно чертит программу своей жизни по жизни, его окружающей.

.....
А ребенок все смотрел и все наблюдал своим детским, ничего не пропускающим умом.

.....
И в доме воцарилась мертвая тишина. Наступил час всеобщего послеобеденного сна.

Ребенок видит, что и отец, и мать, и старая тетка, и свита – все разбрелись по своим углам; а у кого не было его, тот шел на сеновал, другой в сад, третий искал прохлады в сенях, а иной, прикрыв лицо платком от мух, засыпал там, где сморила его жара и повалил громоздкий обед. И садовник растянулся под кустом в саду, подле свой пешни, и кучер спал на конюшне.

Илья Ильич заглянул в людскую: в людской все легли вповалку, по лавкам, по полу и в сенях, предоставив ребятишек самим себе; ребятишки ползают по двору и роются в песке. И собаки далеко залезли в конуры, благо не на кого было лаять.

Можно было пройти по всему дому насквозь и не встретить ни души; легко было обокрасть все кругом и свезти со двора на подводах: никто не помешал бы, если б только водились воры в том краю.

Это был какой-то всепоглощающий, ничем непобедимый сон, истинное подобие смерти. Все мертво, только из всех углов несется разнообразное храпенье на все тоны и лады.

.....
А ребенок все наблюдал да наблюдал.

.....
Мать возьмет голову Илюши, положит к себе на колени и медленно расчесывает ему волосы, любясь мягкостью их и заставляя любоваться и Настасью Ивановну, и Степаниду Тихоновну и разговаривает с ними о будущем Илюши, ставит его героем какой-нибудь созданной ею блистательной эпопеи. Те сулят ему золотые горы.

В главе 9 описывается ДОМ как символ семьи, как пространство уюта и благополучия, как тот причал, где закладываются нравственные ориентиры личности, где формируется сама личность.

Л.Н.Толстой.

**Детство
(повесть)
Глава XV. ДЕТСТВО**

Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений.

Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом, на своем высоком креслице; уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром, сон смыкает глаза, но не трогаешься с места, сидишь и слушаешь. И как не слушать? Матап говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу! Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо, и вдруг она сделалась вся маленькая, маленькая - лицо ее не больше пуговицы; но оно мне все так же ясно видно: вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Я прищуриваю глаза еще больше, и она делается не больше тех мальчиков, которые бывают в зрчках; но я пошевелился - и очарование разрушилось; я суживаю глаза, поворачиваюсь, всячески стараюсь возобновить его, но напрасно. Я встаю, с ногами забираюсь и уютно укладываюсь на кресло.

-- Ты опять заснешь, Николенка, - говорит мне матап, - ты бы лучше шел наверх.

-- Я не хочу спать, мамаша, -- ответишь ей, и неясные, но сладкие грезы наполняют воображение, здоровый детский сон смыкает веки, и через минуту забудешься и спишь до тех пор, пока не разбудят. Чувствуешь, бывало, впросонках, что чья-то нежная рука трогает тебя; по одному прикосновению узнаешь ее и еще во сне невольно схватишь эту руку и крепко, крепко прижмешь ее

к губам.

Все уже разошлись; одна свеча горит в гостиной; мама сказала, что она сама разбудит меня; это она присела на кресло, на котором я сплю, своей чудесной нежной ручкой провела по моим волосам, и над ухом моим звучит милый знакомый голос!

-- Вставай, моя душечка: пора идти спать. Ничьи равнодушные взоры не стесняют ее: она не боится излить на меня всю свою нежность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крепче целую ее руку.

-- Вставай же, мой ангел.

Она другой рукой берет меня за шею, и пальчики ее быстро шевелятся и щекотят меня. В комнате тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробуждением; мамаша сидит подле самого меня; она трогает меня; я слышу ее запах и голос. Все это заставляет меня вскочить, обвить руками ее шею, прижать голову к ее груди и, задыхаясь, сказать:

-- Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! Она улыбается своей грустной, очаровательной улыбкой, берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени.

-- Так ты меня очень любишь? -- Она молчит с минуту, потом говорит: -- Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаша, ты не забудешь ее? не забудешь, Николенька?

Она еще нежнее целует меня.

-- Полно! и не говори этого, голубчик мой, душечка моя! -- вскрикиваю я, целуя ее колени, и слезы ручьями льются из моих глаз -- слезы любви и восторга.

После этого, как, бывало, придешь на верх и станешь перед иконами, в своем ваточном халатце, какое чудесное чувство испытываешь, говоря: "Спаси, господи, папеньку и маменьку". Повторяя молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно чувство.

После молитвы завернешься, бывало, в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, -- но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь, бывало, о Карле Иваныче и его горькой участи -- единственном человеке, которого я знал несчастливым, -- и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: "Дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать". Потом любимую фарфоровую игрушку -- зайчика или собачку -- уткнешь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолитесь о том, чтобы дал Бог счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом.

Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели -- невинная веселость и беспредельная потребность любви -- были единственными побуждениями в жизни?

Где те горячие молитвы? где лучший дар -- те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы эти и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?

М.Рябинин

Родительский дом

Где бы ни были мы, но по – прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас встретит с любовью и нежностью
Наша пристань- родительский дом.
Родительский дом-начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал,
Родительский дом, пройдет много лет,
Горит в твоих окнах добрый свет!
Если вдруг мы с тобою когда-нибудь

Екатерина Винокурова

Мой старый дом, дом детства моего,
Души частичка там живёт и ныне.
Калитка с вертушком, распахнуто окно,
Сверчок за печкой, гроздь на рябине.
Не скрипнет под ногой широкая доска,
Монументальны стены, что из толстых брёвен,
Там занавески на простых шнурах,
Дрова и чугуны у русской печки,
Ведро воды колодезной в сенях,
Что жажду утолит, от горьких дум излечит.

Позабудем родительский дом,
То не стоит искать оправдания-
Оправдания мы не найдем.
Поклонись до земли своей матери
И отцу до земли поклонись,
Мы пред ними в долгу неоплаченном-
Помни свято об этом всю жизнь.

Мой старый дом – пристанище души,
Я здесь опять. И не считаю годы...
Я здесь с тобой, в плену твоей тиши,
Во власти памяти и внутренней свободы.

Фазиль Искандер

ДЕДУШКИН ДОМ

Да пребудут прибиток и сила
В том крестьянском доме до конца.
Его крыша меня приютила,
Не от неба - от бед оградила,
Без него моего нет лица.
Славлю балки его и стропила,
Как железо, тяжелый каштан.
Червоточиной время точило
Его стены.
Войною когтило
Душу дома,
Да выжил чудила,
Хлебосол, балагур, великан!
Так пускай же огонь веселится,
Освещая могучие лица
Молчаливых, усталых мужчин.
Приспущены женщин ресницы,
Веретена кружат. Золотится
Старый дедовский добрый камин.
Дым очажий во мне и поныне.
Он со мной. Он в крови у меня,
Обжитой, горьковатый и синий.
...Дом стоял на широкой хребтине,
Как седло на спине у коня.

Двор округлый, подобие чаши,
Алычою да сливой обсажен,
Под орешней раскидиста тень.
Мытый ливнями череп лошажий,
Он на кол на плетневый насажен,
Нахлобучен, надет набекрень.
Неба мало столетнему грабу.
Тянет яблоня мшистую лапу,
Ядра яблок бодают балкон.
По капле узнай, по капле
И на щелканье и на звон
Зрелый плод. Он румяней и круче.
Чаще в полдень звездою падучей
Детству под ноги рушится он.
Теплый вечер и сумрак лиловый.
Блеют козы. Мычит корова.
К ней хозяйка подходит с ведром,
Осторожно ласкает имя,
Гладит теплое, круглое вымя,
Протирает, как щеткой, хвостом.

Фазиль Абдулович Искандер

Сейчас, где бы я ни жил, у меня нет и в помине той жаркой радостной тяги в город, которая была в юности. Наоборот, я всё чаще и чаще чувствую, что мне не хватает дедушкиного дома.

Может быть, потому что дедушкиного дома уже нет – старые умерли, а молодые уехали в город или поближе к нему. А когда он стоял, всё не хватало времени бывать там чаще, я его всё оставлял про запас. И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что я ограблен, что какой-то мой главный корень обрублен.

Даже если я там бывал редко, самой своей жизнью, своим очажным дымом, доброй тенью своих деревьев он помогал мне издали, делал меня смелей и уверенней в себе. Я был почти неуязвим, потому что часть моей жизни, моё начало шумело и жило в горах. Когда человек ощущает своё начало и своё продолжение, он щедрей и правильней располагает свое жизнью и его трудней ограбить, потому что он не все свои богатства держит при себе.

Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зелёным двором, со старой яблоней (обнимая её ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зелёным шатром грецкого ореха.

Сколько незрелых яблок посбивали мы с нашей старой яблони, сколько незрелых орехов, покрытых толстой зелёной кожурой с ещё нежной скорлупой, с ещё не загустевшим ядрышком внутри!

Мне не хватает просторной кухни в дедушкином доме с её земляным полом, с большим жарким очагом, с длинной тяжёлой скамьей, стоящей у очага. На ней мы сидели по вечерам и слушали бесконечные охотничьи рассказы или рассказы о разрытых кладках в старых крепостях.

Мне не хватает вечерней переключки женщин с холма на холм, или с котловины в гору, или с горы в ложбину.

Как одинок, как чист женский голос в холодеющем вечернем воздухе!

Я всё чаще и чаще чувствую, что мне не

<p>Жадно пальцы сосцы зажали. Зазвенели, потом зажужжали Струйки синего молока. ...Я не знаю, что это значит: Храп коня или лай собачий Все мне слышится издалека. И когда мне теперь неуютно, И какая-то горечь подспудно Лезет горлом, сжимает виски, Глядя в теплую темень ночную, Тихо-тихо сквозь зубы шепчу я: - Милый дедушкин дом, помоги! Помоги мне. Неужто напрасно? Или чем-нибудь веку опасна Родниковая ранняя рань? Дай мне силы раздвинуть плечи, Слово вымолвить по-человечьи, Первородною свежестью грянь!</p>	<p>хватает дедушкиного дома.</p>
--	----------------------------------

<p>Игорь Кохановский Мир дому твоему, мир дому твоему, - Слова простые эти всем знакомы. Мир небу твоему, мир дому твоему, Мир твоему, земля, большому дому. Что жизнь коротка — не беда, В ней можно успеть очень много, Лишь мирно бы небо всегда Сияло над каждым порогом. Мир дому твоему, мир дому твоему, - Слова простые эти всем знакомы. Мир небу твоему, мир дому твоему, Мир твоему, земля, большому дому. Как больно земле узнавать По сводкам последних известий, Что где-то над миром опять Снаряды завыли зловеще. Мир дому твоему, мир дому твоему, - Слова простые эти всем знакомы. Мир небу твоему, мир дому твоему, Мир твоему, земля, большому дому. Всем ясно, что стала мала Сегодня земля для сражений, И только, как прежде, она Просторна для добрых свершений. Мир дому твоему, мир дому твоему, - Слова простые эти всем знакомы. Мир небу твоему, мир дому твоему, Мир твоему, земля, большому дому.</p>	<p>Инна Ходорова МИР ДОМУ ТВОЕМУ - Добра, Тепла и Света, Чтоб обходила стороной его хула, Чтоб пониманием Душа его была согрета, И чтоб в Гармонии жила бы там семья.</p> <p>МИР ДОМУ ТВОЕМУ - Любви, Рождений, Ласки, Чтоб полон он был смехом и детьми, Живущие, чтоб доверяли детским сказкам, Чтоб наполнялся он хорошими людьми.</p> <p>МИР ДОМУ ТВОЕМУ - Надежды, Веры, Счастья, Чтоб пахло пирогами, сдобой, хлебом, Чтоб обходили стороной его ненастья... Благословен пусть будет Богом, Небом!!!</p> <p>06.11.2012</p>
--	---

<p>В.Астафьев.</p> <p style="text-align: center;">Окно (из книги «Затеси»)</p> <p>Ничто не наводит на меня такую пространственную печаль, ничто не повергает в такое чувство беспомощности, как одиноко светящееся окно в покинутой деревушке, да и в скоплении современных домов.</p> <p>Подъезжаешь рано утром к большому городу,ходишь в этот сделавшийся привычным, но все</p>
--

же веющий холодом и отчужденностью каменный коридор — и ощущение такое, словно медленно-медленно утопаешь ты в глухом, бездонном колодце. Равнодушно и недвижно стоят современные жилища с плоскими крышами, с темными квадратами окон, безликими громадами сплачиваясь в отдалении. Тяжелым сном повергнута окраина — ни огонька, ни вдоха.

Спит, сам себя загнавший в бетонные ульи, трудовой человек, спят по пять-шесть деревень в одном многоподъездном доме, спит волость или целая область в одном многолюдном микрорайоне, и только сны соединяют людей с прошлым миром: лошади на лугу, желтые валы сена среди зеленых строчек прокосов, береза в поле, босой мальчишка, бултыхающийся в речке, жатка, вразмашку плывущая в пшенице, малина по опушкам, рыжики по соснякам, салазки, мчащиеся с горы, школы с теплым дымом над трубой, лешие за горой, домовые за печкой...

«В самоволке находятся сны» — как сказал один солдат с поэтическими замашками.

И вдруг раскаленным кончиком иголки проткнется из темных нагромождений огонек, станет надвигаться, обретать форму окна — и стиснет болью сердце: что там, за этим светящимся окном? Кого и что встревожило, подняло с постели? Кто родился? Кто умер? Может, больно кому? Может, радостно? Может, любит человек человека? Может, бьет?..

Поди узнай! Это тебе не в деревне, где крик о помощи слышен от околицы до околицы. Далеко до каменного окна, и машину не остановишь. Уходит она все быстрее и быстрее, но глаза отчего-то никак не могут оторваться от неусыпного огонька, и томит голову сознание, что и ты вот так же заболеешь, помирать станешь и позвать некого — никого и ничего кругом, бездушно кругом.

Что же все-таки у тебя, брат мой, случилось? Что встревожило тебя? Что подняло с кровати? Буду думать — не беда. Так мне легче. Буду надеяться, что минуют твой казенный дом беды, пролетят мимо твоего стандартного окна. Так мне спокойней. Успокойся и ты. Все вокруг спят и ни о чем не думают. Спи и ты. Погаси свет.

Одинокое светящееся в ночи окно - признак глухого, неизбежного одиночества

М.И.Цветаева.

*Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может- пьют вино,
Может- так сидят.
Или просто –рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
Не от свеч, от ламп темнота
зажглась:
От бессонных глаз!*

*Крик разлук и встреч-
Ты, окно в ночи!
Может - сотни свеч,
Может - три свечи...
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моем доме
Завелось такое
Помолись, дружок,
за бессонный дом,
За окно с огнем!*

(1916 год)

Ф.М.Достоевский.

**Мальчик у Христа на ёлке
(рассказ)**

I

МАЛЬЧИК С РУЧКОЙ

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, -- значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил "с ручкой"; это технический термин, значит -- просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, -- стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмушая: их высылают "с ручкой" хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-

нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, "забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером". Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекающимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

...и в рот мне водку скверную

Безжалостно вливал...

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но всё, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят все - голод, холод, побои, - только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

II

МАЛЬЧИК У ХРИСТА НА ЕЛКЕ

Но я романист, и, кажется, одну "историю" сам сочинил. Почему я пишу: "кажется", ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне все мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала с своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. "Очень уж здесь холодно", - подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да все боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется - никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь - господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, - ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в

комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие -- миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копейчку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копейчка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, - только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, - вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, -- и присел за дровами: "Тут не сыщут, да и темно".

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: "Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, - подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, - совсем как живые!.." И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. "Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!"

-- Пойдем ко мне на елку, мальчик, -- прошептал над ним вдруг тихий голос.

Он подумал было, что это все его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, -- о, какой свет! О, какая елка! Да и не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: все блестит, все сияет и кругом всё куколки, -- но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

-- Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! - кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. - Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? - спрашивает он, смеясь и любя их.

-- Это "Христова елка", - отвечают они ему. - У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей елки... - И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнает своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрасивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо...

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами

мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свидетели у господ бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне все кажется и мерещится, что все это могло случиться действительно, -- то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа -- уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

С.Есенин.

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда,-
Слишком были такими недавними
Отзвучавшие в сумрак года.

До сегодня еще мне снится
Наше поле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем
Этих северных бедных небес.

Восхищаться уж я не умею
И пропасть не хотел бы в глуши,
Но, наверно, навеки имею
Нежность грустную русской души.

Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.

Только видели березь да цветь,
Да раkitник, кривой и безлистый,
Да разбойные слышали свисты,
От которых легко умереть.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Потому так и днями недавними
Уж не юные веют года...
Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.

С.Есенин.

Где ты, где ты, отчий дом,
Гревший спину под бугром?
Синий, синий мой цветок,
Неприхоженный песок.
Где ты, где ты, отчий дом?
За рекой поет петух.
Там стада стерег пастух,
И светились из воды
Три далекие звезды.
За рекой поет петух.
Время — мельница с крылом
Опускает за селом
Месяц маятником в рожь
Лить часов незримый дождь.
Время — мельница с крылом.
Этот дождик с сонмом стрел
В тучах дом мой завертел,
Синий подкосил цветок,
Золотой примял песок.
Этот дождик с сонмом стрел.

С.Есенин

*Эта улица мне знакома,
И знаком этот низенький дом.
Проводов голубая солома
Опрокинулась над окном.
Были годы тяжелых бедствий,
Годы буйных, безумных сил.
Вспомнил я деревенское детство,
Вспомнил я деревенскую синь.
Не искал я ни славы, ни покоя,
Я с тщетой этой славы знаком.
А сейчас, как глаза закрою,
Вижу только родительский дом.
Вижу сад в голубых накрапах,
Тихо август прилег ко плетню.*

*Наша печь как-то дико и странно
Завывала в дождливую ночь.
Голос громкий и всхлипень зычный,
Как о ком-то погибшем, живом.
Что он видел, верблюдов кирпичный,
В завывании дождевом?
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю —
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
Но угасла та нежная дрема,*

*Держат липы в зеленых лапах
Птичий гомон и щебетню.
Я любил этот дом деревянный,
В бревнах теплилась грозная морщь,*

*Все истлело в дыму голубом.
Мир тебе — полевая солома,
Мир тебе — деревянный дом!*

Ю.Трифонов.

**Дом на набережной
(пересказ)**

Действие происходит в Москве и разворачивается в нескольких временных планах: середина 1930-х, вторая половина 1940-х, начало 1970-х гг. Научный работник, литературовед Вадим Александрович Глебов, договорившись в мебельном магазине о покупке антикварного стола, приезжает туда и в поисках нужного ему человека случайно наталкивается на своего школьного приятеля Левку Шулепникова, здешнего рабочего, опустившегося и, судя по всему, спивающегося. Глебов окликает его по имени, но Шулепников отворачивается, не узнавая или делая вид, что не узнает. Это сильно уязвляет Глебова, он не считает, что в чем-то виноват перед Шулепниковым, и вообще, если кого винить, то — времена. Глебов возвращается домой, где его ждет неожиданное известие о том, что дочь собирается замуж за некоего Толмачева, продавца книжного магазина. Раздраженный встречей и неудачей в мебельном, он в некоторой растерянности. А посреди ночи его поднимает телефонный звонок — звонит тот самый Шулепников, который, оказывается, все-таки узнал его и даже разыскал его телефон. В его речи та же бравада, то же хвастовство, хотя ясно, что это очередной шулепниковский блеф.

Глебов вспоминает, что когда-то, в пору появления Шулепникова в их классе, мучительно завидовал ему. Жил Левка в сером громадном доме на набережной в самом центре Москвы. Там обитали многие приятели-однокашники Вадима и, казалось, шла совсем иная жизнь, чем в окружающих обычных домах. Это тоже было предметом жгучей зависти Глебова. Сам он жил в общей квартире в Дерюгинском переулке неподалеку от «большого дома». Ребята называли его Вадька Батон, потому что в первый день поступления в школу он принес батон хлеба и оделял кусками тех, кто ему приглянулся. Ему, «совершенно никакому», тоже хотелось чем-то выделиться. Мать Глебова одно время работала билетершей в кинотеатре, так что Вадим мог пройти на любой фильм без билета и даже иногда провести приятелей. Эта привилегия была основой его могущества в классе, которой он пользовался очень расчетливо, приглашая лишь тех, в ком был заинтересован. И авторитет Глебова оставался незыблемым, пока не возник Шулепников. Он сразу произвел впечатление — на нем были кожаные штаны. Держался Левка высокомерно, и его решили проучить, устроив нечто вроде темной, — набросились скопом и попытались стащить штаны. Однако случилось неожиданное — пистолетные выстрелы вмиг рассеяли нападавших, уже было скрутивших Левку. Потом оказалось, что стрелял он из очень похожего на настоящий немецкого пугача. Сразу после того нападения директор устроил розыск преступников, Левка выдавать никого не хотел, и дело вроде бы замяли. Так он стал, к Глебовой зависти, еще и героем. И в том, что касается кино, Шулепников Глебова тоже перещеголял: зазвал однажды ребят к себе домой и прокрутил им на собственном киноаппарате тот самый боевик «Голубой экспресс», которым так увлекался Глебов. Позже Вадим подружился с Шулепой, как называли того в классе, стал бывать у него дома, в огромной квартире, тоже произведшей на него сильное впечатление. Выходило так, что у Шулепникова было все, а одному человеку, по размышлению Глебова, не должно быть все. Отец Глебова, работавший мастером-химиком на кондитерской фабрике, советовал сыну не обольщаться дружбой с Шулепниковым и пореже бывать в том доме. Однако когда арестовали дядю Володю, мать Вадима попросила через Левку его отца — важную шишку в органах госбезопасности — узнать про него. Шулепников-старший, уединившись с Глебовым, сказал, что узнает, но в свою очередь попросил его сообщить имена зачинщиков в той истории с пугачом, которая, как думал Глебов, давно забылась. И Вадим, который сам был среди зачинщиков и потому боялся, что это, в конце концов, всплывет, назвал два имени. В скором времени эти ребята вместе с родителями исчезли, подобно его соседям по квартире Бычковым, которые терроризировали всю округу и однажды избили появившихся в их переулке Шулепникова и Антона Овчинникова, еще одного их однокашника. Потом Шулепников появляется в 1947 г., в том же самом институте, в котором учился и Глебов. Прошло семь лет с тех пор, как они виделись в

последний раз. Глебов побывал в эвакуации, голодал, а в последний год войны успел послужить в армии, в частях аэродромного обслуживания. Шулепа же, по его словам, летал в Стамбул с дипломатическим поручением, был женат на итальянке, потом разошелся и т. п. Его рассказы полны таинственности. Он по-прежнему именинник жизни, приезжает в институт на трофейном «БМВ», подаренном ему отчимом, теперь уже другим и тоже из органов. И живет он опять в элитарном доме, только теперь на Тверской. Лишь мать его Алина Федоровна, потомственная дворянка, совершенно не изменилась. Из прочих их одноклассников кое-кого уже не было в живых, а прочих размело в разные концы. Осталась только Соня Ганчук, дочь профессора и заведующего кафедрой в их институте Николая Васильевича Ганчука. Как приятель Сони и секретарь семинара, Глебов часто бывает у Ганчуков все в том же самом доме на набережной, к которому он вожделеет в мечтах со школьных лет. Постепенно он становится здесь своим. И по-прежнему чувствует себя бедным родственником. Однажды на вечеринке у Сони он вдруг понимает, что мог бы оказаться в этом доме совсем на иных основаниях. С этого самого дня, словно по заказу, в нем начинается развиваться к Соне совсем иное, нежели просто приятельское, чувство. После празднования Нового года на ганчуковской даче в Брусках Глебов и Соня становятся близки. Родители Сони пока ничего не знают об их романе, однако Глебов чувствует некоторую неприязнь со стороны матери Сони Юлии Михайловны, преподавательницы немецкого языка в их институте. В это самое время в институте начинаются всякие неприятные события, непосредственным образом коснувшиеся и Глебова. Сначала был уволен преподаватель языкознания Аструг, затем дошла очередь и до матери Сони Юлии Михайловны, которой предложили сдавать экзамены, чтобы получить диплом советского вуза и иметь право преподавать, поскольку у нее диплом Венского университета. Глебов учился на пятом курсе, писал диплом, когда его неожиданно попросили зайти в учебную часть. Некто Друзяев, бывший военный прокурор, недавно появившийся в институте, вместе с аспирантом Ширейко намекнули, что им известны все глебовские обстоятельства, в том числе и его близость с дочерью Ганчука, а потому было бы лучше, если бы руководителем глебовского диплома стал кто-нибудь другой. Глебов соглашается поговорить с Ганчуком, однако позже, особенно после откровенного разговора с Соней, которая была ошеломлена, понял, что все обстоит гораздо сложнее. Поначалу он надеется, что как-нибудь рассосется само собой, с течением времени, но ему постоянно напоминают, давая понять, что от его поведения зависит и аспирантура, и стипендия Грибоедова, положенная Глебову после зимней сессии. Еще позже он догадывается, что дело вовсе не в нем, а в том, что на Ганчука «катали бочку». И еще был страх — «совершенно ничтожный, слепой, бесформенный, как существо, рожденное в темном подполье». Как-то сразу Глебов вдруг обнаруживает, что его любовь к Соне вовсе не такая серьезная, как казалось. Между тем Глебова вынуждают выступить на собрании, где должны обсуждать Ганчука. Появляется осуждающая Ганчука статья Ширейко, в которой упоминается, что некоторые дипломники (имеется в виду именно Глебов) отказываются от его научного руководства. Доходит это и до самого Николая Васильевича. Лишь признание Сони, открывшей отцу их отношения с Глебовым, как-то разряжает ситуацию. Необходимость выступления на собрании гнетет Вадима, не знающего, как выкрутиться. Он мечется, идет к Шулепникову, надеясь на его тайное могущество и связи. Они напиваются, едут к каким-то женщинам, а на следующий день Глебов с тяжелым похмельем не может пойти в институт. Однако его и дома не оставляют в покое. На него возлагает надежды антидрузяевская группа. Эти студенты хотят, чтобы Вадим выступил от их имени в защиту Ганчука. К нему приходит Куно Иванович, секретарь Ганчука, с просьбой не отмалчиваться. Глебов раскладывает все варианты — «за» и «против», и ни один его не устраивает. В конце концов все устраивается неожиданным образом: в ночь перед роковым собранием умирает бабушка Глебова, и он с полным основанием не идет на собрание. Но с Соней все уже кончено, вопрос для Вадима решен, он перестает бывать в их доме, да и с Ганчуком тоже все определено — тот направлен в областной педвуз на укрепление периферийных кадров. Все это, как и многое другое, Глебов стремится забыть, не помнить, и это ему удается. Он получил и аспирантуру, и карьеру, и Париж, куда уехал как член правления секции эссеистики на конгресс МАЛЭ (Международной ассоциации литературоведов и эссеистов). Жизнь складывается вполне благополучно, однако все, о чем он мечтал и что потом пришло к нему, не принесло радости, «потому что отняло так много сил и того невосполнимого, что называется

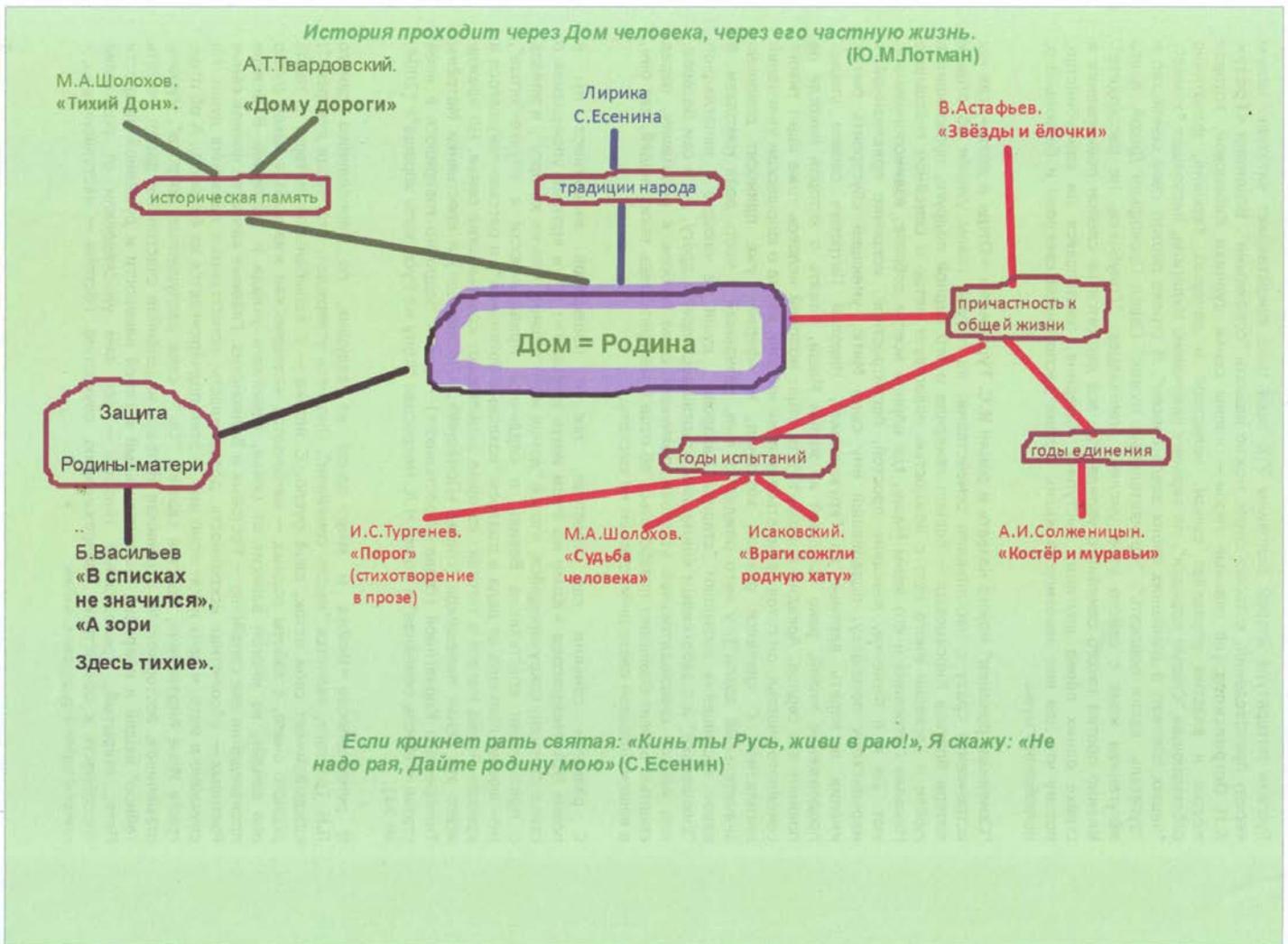
жизнью».

В повести дом является символом благополучия, устойчивой и стабильной жизни. Для Вадима Глебова, главного героя, дом – это символ обладания чем-то.

Повествование движется от настоящего к прошлому: сначала перед нами кандидат наук, обеспеченный, уверенный в себе человек, а потом его воспоминания переносят нас в его прошлое, которое Вадим не хочет вспоминать. И заглянув в школьные и институтские годы Глебова, мы видим, как он радуется, если кто-то теряет дом, как подличает...

Дом на набережной превращается в разрушающийся дом, дом, который не приносит уверенности в завтрашнем дне...

ДОМ – РОДИНА



ПРИСЛУШАЕМСЯ К МУДРЫМ...

Фрэнсис Бэкон. Любовь к Родине начинается с семьи.

К.Г.Паустовский. Человеку нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца.

Луций Анней Сенека (младший). Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя.

М.С. Сарьян. Без Родины, без любви к Родной Земле, человек не сможет найти себя, найти свою Душу.

В.Р.Степанян. Любите нашу землю как родителей своих.

Дом – наша маленькая родина, в нем мы родились и выросли. В то же время страна – это большой дом для всего народа

К.Паустовский.

Мещёрская сторона

Глава «Мой дом»

Маленький дом, где я живу в Мещёре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол - западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей - рыжие, черные, серые и белые с подпалинами - берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой - он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они поднимаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночью редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночью в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем - нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха - он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не поднимает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди - пустынный сентябрьский день. Впереди - затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

1939

<p>П.М. Огнев <i>Два слова: Родина и Мать – Стоят, известно, вместе. Не разделить их, не развязать, Как музыку от песни... . Святой источник жизни – Мать – Наш свет неугасимый Но может жизнь проклятьем стать</i></p>	<p><i>Без Родины любимой. И от того – когда бедой Грозит нам враг упрямый – На бой нас Родина зовёт, Благословляют мамы. А если гибнет он, солдат, И мать, и Родина скорбят...</i></p>
<p>Зинаида Александрова Если скажут слово "Родина", Сразу в памяти встаёт Старый дом, в саду смородина, Толстый тополь у ворот, У реки берёзка-скромница И ромашковый бугор... А другим, наверно, вспомнится Свой родной московский двор.</p>	<p>В лужах первые кораблики, Где недавно был каток, И большой соседней фабрики Громкий, радостный гудок. Или степь от маков красная, Золотая целина... Родина бывает разная, Но у всех она одна!</p>
<p>Андрей Усачёв Россия подобна огромной квартире. Четыре окна в ней и двери четыре: На север, на запад, на юг, на восток. Над нею небесный висит потолок. Роскошный ковер устилает в квартире Полы на Таймыре и в Анадыре. И солнце горит в миллиард киловатт, Поскольку местами наш дом темноват. И, как и положено каждой квартире, Имеется в ней Кладовая Сибири: Хранится там ягод различных запас, И рыба, и мясо, и уголь, и газ. А рядом с Курилкой - Курильской грядой - Находятся краны с горячей водой, У сопки Ключевской клокочут ключи (Пойди и горячую воду включи!) Еще есть в квартире три классные ванны: Северный, Тихий и Атлантический океаны. И мощная печка системы "Кузбасс", Что греет зимою холодную нас.</p>	<p>А вот холодильник с названием "Арктика", Прекрасно работает в нем автоматика. И справа от древних кремлевских часов Идут еще семь часовых поясов. Все есть в Русском доме для жизни удобной, Но нету порядка в квартире огромной: Тут вспыхнет пожар, там труба потекла. То громко соседи стучат из угла. То стены трещат, то посыпалась краска, Лет двести назад отвалилась Аляска, Поехала крыша, пропал горизонт... Опять перестройка и снова ремонт. Что строят, строители сами не знают: Сначала построят, а после сломают. Всем хочется - сразу построили чтоб Избу-Чум-Ярангу-Дворец-Небоскреб! Мы все в нашем доме соседи и жители: Простые жильцы, управдомы, строители. И что мы построим теперь на Руси?.. Об этом ты папу и маму спроси.</p>
<p>В.Н.Орлов. Я узнал что у меня Есть огромная семья — И тропинка, и лесок, В поле каждый колосок, Речка, небо голубое — Это всё моё родное — Это родина моя, Всех люблю на свете Я!</p>	<p>В. Набоков Родина Бессмертное счастье наше Россией зовется в веках. Мы края не видели краше, а были во многих краях. Но где бы стезя ни бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя? Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам;</p>

	<p>и гордые музы России незримо сопутствуют нам.</p> <p>Спасибо дремучему шуму лесов на равнинах родных, за ими внушенную думу, за каждую песню о них.</p> <p>Наш дом на чужбине случайной, где мирен изгнанника сон, как ветром, как морем, как тайной, Россией всегда окружен.</p>
--	--

<p>А.Дементьев</p> <p><i>Глаза прикрою — вижу дом И покосившуюся баню. Туман над утренним прудом. И нас, мальчишек, в том тумане. В войну фашисты дом сожгли. Лишь три избы в селе осталось. Да пенье птиц, да зов земли. И рядом бабушкина старость. Как горько было на Руси! Куда от памяти мне деться?! Труба, черневшая вблизи, Казалась памятником детству. ...Село отстроили давно. Сады бывлые возродили. Есть клуб, где крутится кино. И старый пруд — в убранстве лилий.</i></p>	<p><i>Теперь до нашего села Легко добраться — есть дорога. Не та, что некогда была, А голубой асфальт к порогу. Как быстро годы пронеслись... Домой иду под птичье пенье. Другой народ. Иная жизнь. Лишь в сердце прежнее волнение. В что бы ни было потом, И как сейчас здесь ни красиво, — Глаза прикрою — вижу дом. И говорю ему: "Спасибо!" 1995</i></p>
--	--

<p>А.Т.Твардовский. Поэма «Дом у дороги» (фрагмент)</p> <p>И где бы ни переступал Каких домов пороги, Я никогда не забывал О доме у дороги, О доме горестном, тобой Покинутом когда-то. И вот в пути, в стране чужой Я встретил дом солдата. Тот дом без крыши, без угла, Согретый по-жилому, Твоя хозяйка берегла За тыщи вёрст от дому. Она тянула кое-как Вдоль колеи шоссейной — С меньшим, уснувшим на руках, И всей гурьбой семейной. Кипели реки подо льдом, Ручьи взбивали пену, Была весна, и шёл твой дом</p>	<p>Как змейка вся ходила. В дому – какое ни житьё – Детишки, печь, корыто – Ещё не видел он её Нечёсаной, немытой. И весь она держала дом В опрятности тревожной, Считая, может, что на том Любовь навек надёжней. И так любовь была сильна Такою властной силой, Что разлучить одна война Могла. И разлучила. *** Томила б только ты бойца, Война, тоской знакомой Да не пылила б у крыльца Его родного дома. Глава 5 Вам не случилось быть при том, Когда в ваш дом родной Входил, гремя своим ружьём,</p>
---	--

На родину из плена.

Домой ждала тебя жена,
Когда с нещадной силой
Старинным голосом война
По всей стране завывала.

Куда там было в старину, -
Всё нынче по-иному:
Ушёл хозяин на войну,
Война подходит к дому.

И, чуя гибель, этот дом
И сад молчат тревожно.
И фронт – уж вот он – за холмом
Вздыхает безнадежно.

И сердце женское вдвойне
Тоска, тревога гложет,
Что своего лишь там, в огне,
Жена представить может.

В огне, в бою, в чадном дыму
Кровавой рукопашной.
И как, должно быть, там ему,
Живому, смерти страшно.

Не подсказала б та беда,
Что бабьим воем выла,
Не знала б, может, никогда,
Что до смерти любила.

Любила – взгляд не оброни
Никто, одна любила.
Любила так, что от родни,
От матери отбила.

Пусть не девичья пора,
Но от любви на диво –
В речах остра,
В делах быстра,

Солдат земли иной?

Не бил, не мучил и не жёг, -
Далеко до беды.
Вступил он только на порог
И попросил воды.

И, наклонившись над ковшом,
С дороги весь в пыли,
Попил, утёрся и ушёл
Солдат чужой земли.

Не бил, не мучил и не жёг, -
Всеми свой срок и ряд.
Но он входил, уже он мог
Войти, чужой солдат.

Чужой солдат вошёл в ваш дом,
Где свой не мог войти.
Вам не случилось быть при том?
И бог не приведи!

Вам не случилось быть при том,
Когда, хмельной, дурной,
За вашим тешится столом
Солдат земли иной?

Сидит, заняв тот край скамьи,
Тот угол дорогой,
Где муж, отец, глава семьи
Сидел, - не кто другой.

Не доведись вам злой судьбой
Не старой быть при том
И не горбатой, не кривой
За горем и стыдом.

И до колодца по селу,
Где есть чужой солдат,
Как по толчёному стеклу,
Ходить вперёд-назад.

В.Астафьев

Родные берёзы (из книги «Затеси»)

Заболел я однажды, и мне дали путевку в южный санаторий, где я никогда еще не бывал. Меня уверили, что там, на юге, все недуги излечиваются быстро и бесповоротно. Но плохо больному человеку, везде плохо, даже у моря под южным солнцем. В этом я убедился очень скоро

Какое-то время я с радостью первооткрывателя бродил по набережной, по приморскому парку, среди праздной толпы, подчеркнуто веселой, бесцельно плывущей куда-то. Но уже через неделю мне стало здесь чего-то не хватать, сделалось одиноко, и я начал искать чего-то, рыская по городу и парку.

Часами смотрел я на море, пытаюсь обрести успокоение, наполненность душевную и тот смысл, и красоту, которые всегда находили в пространстве моря художники, бродяги и моряки. Море нагоняло на меня еще большую тоску мерным, неумолчным шумом. В его большом и

усталом дыхании слышалась старческая грусть. Оно много видело, это древнее, седобровое море, и оттого в нем было больше печали, чем веселости

В приморском парке росли деревья и кусты, собранные со всех сторон мира: платаны, чинары, кипарисы, магнолии, пальмы. Эти заморские растения удивляли, но не радовали. Бродил я по приморскому парку и вдруг увидел среди заморских кущ три березки толщиной в детскую руку. Глазам своим я не поверил. Не растут березы в этих местах. Но они стояли на полянке в густой мягкой травке, опустив долу ветви. Березы и в наших-то лесах, если растут поодиночке, сиротами кажутся, а здесь и вовсе затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и все-таки от них нельзя было оторваться глазу. Белые стволы берез пестрели, как веселые сороки, а на нежной зелени зазубренных листьев было так хорошо, покойно взгляду после ошеломляющего блеска чужеземной, бьющей в глаза растительности.

Садовник широкодушно высвободил место березам в этом тесном парке, где обязательно кто-то и кого-то хотел затмить. Березы часто поливали, чтобы не сомлел и не умерли они от непосильного для них южного солнца.

Березки эти привезли вместе с травяной полянкой на пароходе, отпоили и выходили их, и они прижились. Но листья берез лицевой стороной были повернуты к северу, и вершины тоже.

Я глядел на эти березы и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, наличники окон в зеленой пене березового листа. Даже за ремешками картузов у парней — березовые ветки. Подкараулив девок с водою, парни бросали им в ведра свои ветки, а девушки старались не расплескать воду из ведер — счастье выплеснуть! В кадках вода долго пахла березовым листом. Крыльцо и пол сеней были застелены молодыми ветками папоротника. По избам чадило таежным летом, уже устоявшимся, набравшим силу. В этот день — в Троицу — народ уходил за деревню с самоварами и гармошками.

Какое-то время спустя под дощаной навес сваливали целый воз березовых веток. В середине зеленого вороха сидела и вязала веники бабушка. Лицо у бабушки умиротворенное, она даже напевает что-то потихоньку, будто в березовой повядшей и оттого особенно духовитой листве утонули и суровость ее, и тревожная озабоченность

Веники поднимали на чердак и сарай, вешали попарно на жерди, на перекладины. Всю зиму гуляло по чердаку и сараю ветренное, пряное лето. Потому и любили мы, ребятишки, здесь играть. Воробьи слетались сюда по той же причине, забирались в веники на ночевку.

И всю зиму березовый веник служил свою службу людям: им выпаривали пот из кожи, надсаду и болезни из натруженных костей.

Ах, как сладко пахнет

В.Астафьев

Звёзды и ёлочки (из книги «Затеси»)

В Никольском районе, на родине покойного поэта Яшина, я впервые увидел звездочки, прибитые к торцам углов сельских изб, и решил, что это пионеры-тимуровцы в честь какого-то праздника украсили деревню...

Зашли мы в одну избу испить водицы. Жила в той деревянной избе, с низко спущенными стропилами и узко, в одно стекло, прорубленными окнами, приветливая женщина, возраст которой сразу не определить было — так скорбно и темно лицо ее. Но вот она улыбнулась: «Эвон, сколько женихов-то мне сразу привалило! Хоть бы взяли меня с собой да заблудили в лесу...» И мы узнали в ней женщину, чуть перевалившую за середину века, но не раздавленную жизнью.

Женщина складно шутила, светлела лицом и, не зная, чем нас угостить, все предлагала гороховые витушки, а узнавши, что мы никогда не пробовали этакой стряпни, непринужденно одарила нас темными крендельками, высыпав их с жестяного листа на сиденье машины, уверяя, что с такого кренделя в мужике дух крепкий бывает и на гульбу его тянет греховодную.

Я не устаю поражаться тому, как люди, и особенно женщины, и особенно на Вологодчине, несмотря ни на какие невзгоды, сохраняют и несут по жизни распахнутую, неунывающую душу. Встретишь на перепутье вологодского мужика или бабенку, спросишь о чем-нибудь, а они улыбнутся тебе и заговорят так, будто сотню лет уж тебя знают и родня ты им ближайшая. А

оно и правда родня: на одной ведь земле родились, одни беды мыкали. Только забывать иные из нас об этом стали.

Настроенный на веселую волну, я весело поинтересовался, что за звезды на углах избы, в честь какого такого праздника?

И снова потемнело лицо старой женщины, улетучились смешинки из глаз, а губы вытянулись в строгую ниточку. Опустив голову, она глухо, с выношенным достоинством и скорбью ответила:

— Праздник?! Не дай Бог никому такого праздника... Пятеро не вернулись у меня с войны: сам, трое сыновей и деверь... — Она прошлась взглядом по звездочкам, вырезанным из жести, покрашенным багряной ученической краской, хотела еще что-то добавить, да лишь подавила в себе вздох, прикрыла калитку за собою, и оттуда, уже со двора, сглаживая неловкость, сделанную мной, добавила: — Поезжайте с Богом. Если ночевать негде, ко мне приворачивайте, изба пуста...

«Изба пуста. Изба пуста...» — билось у меня в голове, и я все смотрел неотрывно — в деревенских улицах мелькали красными пятнышками звездочки на темных углах, то единично, то россыпью, и вспоминались мне слова, вычитанные недавно в военных мемуарах о том, что в такую тяжкую войну, наверное, не осталось ни одной семьи в России, которая не потеряла бы кого-нибудь...

А как много на Вологодчине недостроенных и уже состарившихся изб! Любили вологжане строиться капитально и красиво. Дома возводили с мезонинами, изукрашивали их резьбой — кружевами деревянными, крыльцо под терем делали. Труд такой кропотлив, требует времени, усердия и умения, и обычно хозяин дома заселялся с семьей в теплую, деловую, что ли, половину избы, где были прихожая, куть и русская печь, а горенку, мезонин и прочее уж отделявал неторопливо, с толком, чтобы было в «чистой» половине всегда празднично и светло.

Вот эти-то светлые половины изб и остались недостроенными. Щели окон, кое-где уже прорубленных, снова наспех забраны чурбаками. На некоторых домах начата уже орнаментовка мезонинов, оконных наличников и ворот. Но грянула война, хозяин вытер пот со лба, страхнул стружки с рубахи и, бережно упрятав весь «струмент» в чуланку, отложил работу на потом, на после войны...

Отложил и не смог вернуться к ней. Лежит русский мужик в сальских или донских степях, подо Львовом или Варшавой, лежит на Зееловских высотах или под Прагой — спит непробудным сном в нашей и чужой земле, а на родине его, в деревнях, рассыпается съеденный ржой, но все еще хранимый на всякий случай женщинами «струмент», старятся сами женщины, старятся так и не высветлившиеся избы, и русская пословица «Без хозяина и дом сирота» обрела какой-то совсем уж горестный смысл.

«Пуста изба...»

Древняя, трудно рожаящая хлеб земля, заселенная народом даровитым, бойким на язык и на работу, раскинулась меж болот и лесов. За околицами деревень чистой зеленью переливаются льны, неопятанным светом своим напоминая вянующую вдовью красу; клонятся долу отяжелевшие ржи; слитно звенит колосом пшеница; шелестят пегие овсы.

Живет и работает земля, как сотню и тысячу лет назад, и, как в древности, на позднем клеверном лугу — женщины с литовками, в цветастых сарафанах, с яркими лентами по подолу фартуков, с оборками на кофтах и в белых платках.

— Помогите, мужики! — машут они руками. И мы подворачиваем, скованно отшучиваясь, берем косы и, стараясь не посрамить мужской род, спешим заделать прокос пошире. И у кого-то уж лучиной хрустнуло литовище — больно размашисто всадил литовку в проволоку свитый клевер.

— Такой клевер надо брить узко, плавно, — учат нас женщины и понарошку сокрушаются: — Ах ты, беда! Литовище нарушили! Кто нам его изладит? Один у нас мужик на всю артель, да и тот три дня уж с повети не слезает — после именин...

И тут же принимаются утешать сконфуженного косца, уверяя, что литовище было надломлено и они, бабы, для потехи его подсунули.

— Заезжайте ввечеру! — приглашают они. — Вместе литовище отремонтировать станем! — хохочут озорницы, как в молодости, и цветастой цепочкой вытягиваются по клеверу, роняя

малиново-зеленые валы его к ногам.

Кажется такой труд легким, и хочешь не хочешь, а сравнишь этих вечных тружениц с теми, кто фыркает при словах «деревня», «сарафан» и прочих подобных вещах.

На одном из домов, высоко, под застрехой, увидел я елочку в ленточках, в тряпочках и поинтересовался: что, мол, опять за причуды?

И мне объяснили спутники, что не причуды, а обычай вологодский, дошедший до наших дней из старины: коли берут парня в солдаты, то невеста его обряжает елочку лентами да цветными тряпочками и прибывает к мезонину или стрехе избы суженого. Жених, вернувшись из солдат, сам уж снимает елочку и торжественно, под радостный причет и плач женщин, несет ее в одной руке, а другую вводит в дом невесту, которая умела ждать и была верной.

Но если парень почему-либо не вернулся из армии — так и будет сохнуть прибитая елочка, и никто ее, скорбную и укорную, не смеет снять, кроме самой невесты.

Увы, на многих вологодских домах ныне траурно чернеют и осыпаются елочки, а ленты и тряпочки выцвели, обмахрились — не возвращаются парни в родные села, под отеческие крыши, к верным и чистым невестам. Они оседают в городах или на стройках, женятся на случайных спутницах и канителются потом с разводами, сиротя детей, тоскуя по родной земле и сожалея о легко утраченной верной любви.

Поля и села. Поля и села.

Облачное небо над ними в голубеньких прозорах, леса и перелески тронуты первыми холодами, листья багряные, что звезды на углах черных изб; елочки, выскочившие на обочину опушки, будто поджидают, когда их нарядят лентами; белый, мудро молчащий храм за холмом; пестрое стадо на зеленой отаве; конь, запыхавший телегою по ухабистой проселочной дороге; первый огонек, затеплившийся в селе; грачиный содом на старых тополях; крик девчоночий, тонко прорезавший тишину деревенской улицы: «Маманя, маманя, в магазин белый хлеб привезли!..»

И снова тихая умиротворенность кормящей матери-земли, привычно, в труде прожитый день, привычные сумерки, наползающие из-за холмов, привычные дали, объятые покоем.

Образ опустевшего дома. Обычай прибывать красную звезду на дом фронтовика.

Ольга Берггольц

Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной - с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена,-
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.

Он настал, наш час,
и что он значит -
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя - я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему - одно.

Июнь 1941

А.И.Солженицын

Костёр и муравьи (из книги «Крохотки»)

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено муравьями. Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на горящее брёвнышко, металась по нему и погибали там...

Чувство родины, дома сильнее даже ужаса смерти.

К.Симонов.

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!-
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.

**Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.**

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.

'Мы вас подождем!'- говорили нам пажити.
'Мы вас подождем!'- говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

1941

ДОМ – ПРИСТАНИЩЕ ДУШИ



Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
Ф.Абрамов

ДОМ = пристанище души



внутренний мир человека

Доброта

И.С.Тургенев.
«Повесить его!»,
А.Платонов. «На заре туманной юности»,
А.И.Солженицын.
«Матрёнин двор»

Пустота

А.П.Чехов.
«Крыжовник»

Разрушение

А.П.Чехов.
«Ионыч»

Очищение

Ф.М.Достоевский.
«Преступление и наказание»

ПРИСЛУШАЕМСЯ К МУДРЫМ...

Д.С.Лихачев. Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра в значительной степени создается им самим. Она создается из его добрых дел, добрых чувств, добрых воздействий на окружающую среду, памяти на добро.

Л.Н.Толстой. Нет в мире прекраснее чувства, чем ощущение, что ты сделал людям хоть каплю добра.

Ф.Абрамов. Главный-то дом человек в душе у себя строит. И тот дом ни в огне не горит, ни в воде не тонет.

Л.Н.Толстой, великий русский писатель. Доброта для души то же, что здоровье для тела: она незаметна, когда владеешь ею, и она даёт успех во всяком деле.

К.Симонов:

*Дом друзей! Чем ему отплатить за щедроты?
Всей любовью своей или памятью всей?
Или, проще, чтоб не был в долгу у него ты,
Сделать собственный дом тоже домом друзей?*

Л.Н.Толстой. Что нужно для счастья? Тихая семейная жизнь... с возможностью делать добро людям.

И.С.Тургенев

«Повесить его!» (стихотворение в прозе)

– Это случилось в 1805 году, – начал мой старый знакомый, – незадолго до Аустерлица. Полк, в котором я служил офицером, стоял на квартирах в Моравии.

Нам было строго запрещено беспокоить и притеснять жителей; они и так смотрели на нас косо, хоть мы и считались союзниками.

У меня был денщик, бывший крепостной моей матери, Егор по имени. Человек он был честный и смиренный; я знал его с детства и обращался с ним как с другом.

Вот однажды в доме, где я жил, поднялись бранчивые крики, вопли: у хозяйки украли двух кур, и она в этой краже обвиняла моего денщика. Он оправдывался, призывал меня в свидетели... «Станет он красть, он, Егор Автамонов!» Я уверял хозяйку в честности Егора, но она ничего слушать не хотела.

Вдруг вдоль улицы раздался дружный конский топот: то сам главнокомандующий проезжал со своим штабом.

Он ехал шагом, толстый, обрюзглый, с понурой головой и свислыми на грудь эполетами.

Хозяйка увидала его – и, бросившись наперерез его лошади, пала на колени – и вся растерзанная, простоволосая, начала громко жаловаться на моего денщика, указывала на него рукою.

– Господин генерал! – кричала она, – ваше сиятельство! Рассудите! Помогите! Спасите! Этот солдат меня ограбил!

Егор стоял на пороге дома, вытянувшись в струнку, с шапкой в руке, даже грудь выставил и ноги сдвинул, как часовой, – и хоть бы слово! Смутил ли его весь этот остановившийся посреди улицы генералитет, окаменел ли он перед налетающей бедою – только стоит мой Егор да мигает глазами – а сам бел, как глина!

Главнокомандующий бросил на него рассеянный и угрюмый взгляд, промычал сердито:

– Ну?...

Стоит Егор как истукан и зубы оскалил! Со стороны посмотреть: словно смеется человек.

Тогда главнокомандующий промолвил отрывисто:

– Повесить его! – толкнул лошадь под бока и двинулся дальше – сперва опять-таки шагом, а потом шибкой рысью. Весь штаб помчался вслед за ним; один только адъютант, повернувшись на седле, взглянул мельком на Егора.

Ослушаться было невозможно... Егора тотчас схватили и повели на казнь.

Тут он совсем помертвел – и только раза два с трудом воскликнул:

– Батюшки! батюшки! – а потом вполголоса: – Видит бог – не я!

Горько, горько заплакал он, прощаясь со мною. Я был в отчаянии.

– Егор! Егор! – кричал я, – как же ты это ничего не сказал генералу!

– Видит бог, не я, – повторял, всхлипывая, бедняк.

Сама хозяйка ужаснулась. Она никак не ожидала такого страшного решения и в свою очередь разревелась! Начала умолять всех и каждого о пощаде, уверяла, что куры ее отыскались, что она сама готова всё объяснить...

Разумеется, всё это ни к чему не послужило. Военные, сударь, порядки! Дисциплина! Хозяйка рыдала всё громче и громче.

Егор, которого священник уже исповедал и причастил, обратился ко мне:

– Скажите ей, ваше благородие, чтоб она не убивалась... Ведь я ей простил.

Мой знакомый повторил эти последние слова своего слуги, прошептал: «Егорушка, голубчик, праведник!» – и слезы закапали по его старым щекам.

Август, 1879

Матрёнин двор
(фрагменты рассказа)

Дом Матрены стоял тут же, неподалеку, с четырьмя оконцами в ряд на холодную некрасную сторону, крытый щепой, на два ската и с украшенным под теремок чердачным окошком. Дом не низкий -- восемнадцать венцов. Однако изгибала щепы, посерели от старости бревна сруба и ворота, когда-то могучие, и проредилась их обвершка.

Калитка была на запоре, но проводница моя не стала стучать, а просунула руку под низом и отвернула завертку - нехитрую затею против скота и чужого человека. Дворик не был крыт, но в доме многое было под одной связью. За входной дверью внутренние ступеньки поднимались на просторные *мосты*, высоко осененные крышей. Налево еще ступеньки вели вверх в *горницу* – отдельный сруб без печи, и ступеньки вниз, в подклеть. А направо шла сама изба, с чердаком и подпольем.

Строено было давно и добротное, на большую семью, а жила теперь одинокая женщина лет шестидесяти.

Когда я вошел в избу, она лежала на русской печи, тут же, у входа, накрытая неопределенным темным тряпьем, таким бесценным в жизни рабочего человека.

Просторная изба и особенно лучшая приоконная ее часть была уставлена по табуреткам и лавкам - горшками и кадками с фикусами. Они заполнили одиночество хозяйки безмолвной, но живой толпой. Они разрослись привольно, забирая небогатый свет северной стороны. В остатке света и к тому же за трубой кругловатое лицо хозяйки показалось мне желтым, больным. И по глазам ее замутненным можно было видеть, что болезнь измотала ее.

Разговаривая со мной, она так и лежала на печи ничком, без подушки, головой к двери, а я стоял внизу. Она не проявила радости заполучить квартиранта, жаловалась на черный недуг, из приступа которого выходила сейчас: недуг налетал на нее не каждый месяц, но, налетев, - ...держит два'-дни и три'-дни, так что ни встать, ни подать я вам не приспею. А избу бы не жалко, живите.

И она перечисляла мне других хозяек, у кого будет мне покойней и угожей и слала обойти их. Но я уже видел, что жребий мой был – поселиться в этой темноватой избе с тусклым зеркалом, в которое совсем нельзя было смотреться, с двумя яркими рублевыми плакатами о книжной торговле и об урожае, повешенными на стене для красоты. Здесь было мне тем хорошо, что по бедности Матрена не держала радио, а по одиночеству не с кем было ей разговаривать.

.....

Может, кому из деревни, кто побогаче, изба Матрены и не казалась доброжилой, нам же с ней в ту осень и зиму вполне была хороша: от дождей она еще не протекала и ветрами студенными выдувало из нее печное грево не сразу, лишь под утро, особенно тогда, когда дул ветер с прохуdivшейся стороны.

Кроме Матрены и меня, жили в избе еще - кошка, мыши и тараканы.

.....

Десять лет она воспитывала ее (Киру, приемную дочь) здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти.

Только оттуда ей теперь и помощь сочилась: иногда сахарку, когда поросенка зарежут - сальца.

Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрена свою волю: отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще три сестры ее метили получить эту избу.

Так в тот вечер открылась мне Матрена сполна. И, как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, - в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира, забеспокоился старик Фаддей: в Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матренина горница. А другого нечего было и поставить, неоткуда лесу взять. И не так сама Кира, и не так муж ее, как за них старый Фаддей загорелся захватить этот участок в Черустях.

И вот он зачастил к нам, пришел раз, еще раз, наставительно говорил с Матреной и **требовал**, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни.

.....

Не спала Матрена две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрена никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила сорок лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрены было это - конец ее жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни.

И Фаддей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в пять топоров, завизжали и заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фаддея деловито поблескивали. Несмотря на то, что спина его не распрямлялась вся, он ловко лазил и под стропила и живо суетился внизу, покрикивая на помощников. Эту избу он парнишкой сам и строил когда-то с отцом; эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увезти с чужого двора.

Переметив номерами венцы сруба и доски потолочного настила, горницу с подклетью разобрали, а избу саму с укороченными мостами отсекли временной тесовой стеночкой. В стенке они покинули щели, и все показывало, что ломатели -- не строители и не предполагают, чтобы Матрене еще долго пришлось здесь жить.

.....

Вынесены и соштабелеваны были бревна перед воротами, зять-машинист уехал в Черусти за трактором.

Но в тот же день началась метель -- *дугель*, по-матрениному. Она кутила и кружила двое суток и замела дорогу непомерными сугробами. Потом, чуть дорогу умяли, прошел грузовик-другой - внезапно потеплело, в один день разом распустило, стали сырые туманы, журчали ручьи, прорывшиеся в снегу, и нога в сапоге увязала по все голенище.

Две недели не давалась трактору разломанная горница! Эти две недели Матрена ходила как потерянная. Оттого особенно ей было тяжело, что пришли три сестры ее, все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала, сказали, что видеть ее больше не хотят, - и ушли.

И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора -- и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрену.

Наконец стаявшую дорогу прихватило морозом. Наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрене что-то доброе приснилось под тот день. С утра узнала она, что я хочу сфотографировать кого-нибудь за старинным ткацким станом (такие еще стояли в двух избах, на них ткали грубые половики), - и усмехнулась застенчиво:

-- Да уж погоди, Игнатич, пару дней, вот горницу, бывает, отправлю -- сложу свой стан, ведь цел у меня - и снимешь тогда. Ей-богу правда!

.....

Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось - и семья деда Фаддея, и приглашенные помогать кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали, как безумные, в том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили.

Спор шел о том, как везти сани - порознь или вместе. Один сын Фаддея, хромой, и зять-машинист толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он *водитель* и повезет сани вместе. Расчет его был ясен: по уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. Двух рейсов за ночь - по двадцать пять километров да один раз назад - он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для *левой*.

Старику Фаддею не терпелось сегодня же увезти всю горницу - и он кивнул своим уступить. Вторые, наспех сколоченные, сани подцепили за крепкими первыми.

Матрена бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке, уже измазала рукава о льдистую грязь бревен, - и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка эта была мне память, она грела меня в тяжелые годы.

Так я в первый раз рассердился на Матрену Васильевну.

-- Ой-ой-ойиньки, головушка бедная! - озадачилась она. - Ведь я ее бегма подхватила, да и

забыла, что твоя. Прости, Игнатич. - И сняла, повесила сушиться.

Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до десяти мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухню. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутылка, голоса становились все громче, похвальба - задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго - темнота заставляла спешить. Стали выходить. Самодовольный, с жестоким лицом вышел тракторист.

Сопровождать сани до Черустей шли зять-машинист, хромой сын Фаддея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. Фаддей, размахивая палкой, догонял кого-то, спешил что-то втолковать. Хромой сын задержался у моего стола закурить и вдруг заговорил, как любит он тетку Матрену, и что женился недавно, и вот сын у него родился только что. Тут ему крикнули, он ушел. За окном зарычал трактор.

Последней торопливо выскочила из-за перегородки Матрена. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. Надела телогрейку, накинула платок. В дверях сказала мне:

-- И что было двух не срядить? Один бы трактор занемог - другой подтянул. А теперь чего будет -- Богу весть!...

И убежала за всеми.

После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении.

Прошел час, другой. И третий. Матрена не возвращалась, но я не удивлялся: проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше.

И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина -- оттого, оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсте от нас. Приемник мой молчал, и я заметил, что очень уж, как никогда, развозились мыши: все нахальней, все шумней они бегали под обоями, скребили и попискивали.

Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрена не возвращалась.

Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И, правда, скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. Я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала, окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю заветку и впустил. К избе прошли четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях.

При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели - железнодорожные.

Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил:

- Где хозяйка?

- Не знаю.

- А трактор с санями из этого двора уезжал?

- Из этого.

- Они пили тут перед отъездом?

Все четверо щурились, оглядывались в полутьме от настольной лампы. Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать.

-- Да что случилось?

-- Отвечайте, что вас спрашивают!

-- Но...

-- Поехали пьяные?

-- Они пили тут?

Убил ли кто кого? Или перевозить нельзя было горницы? Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно: что за самогонщину Матрене могут дать срок.

Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою.

-- Право, не заметил. Не видно было. (Мне и действительно не видно было, только слышно.)

И как бы растерянным жестом я провел рукой, показывая обстановку избы: мирный настольный свет над книгами и тетрадами; толпу испуганных фикусов; суровую койку отшельника. Никаких

следов разгула.

Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, между собой говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, что была. Я провожал их и попытывался, что же случилось. И только в калитке мне буркнул один:

- Разворотило их всех. Не соберешь.

А другой добавил:

- Да это что! Двадцать первый скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы.

И они быстро ушли.

Кого - их? Кого - всех? Матрена-то где?

Быстро я вернулся в избу, отвел полог и прошел в кухню. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище - сгруженных табуреток и скамьи, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки, лука и раскромсанного сала.

Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полу битвы.

.....

И вдруг скрипнула наша калитка. Я быстро вышел на мосты:

-- Матрена Васильевна?

В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша:

-- Матрена-то... Матрена-то наша, Игнатич...

Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала.

На переезде - горка, въезд крутой. Шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул, и вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали - Фаддей для них лесу хорошего не дал, для вторых саней. Отвезли чуток первые - за вторыми вернулись, трос ладили - тракторист и сын Фаддея хромой, и туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрену. Что' она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб, под прорубь. И зачем на переезд проклятый пошла? - отдала горницу, и весь ее долг, рассчиталась... Машинист все смотрел, чтобы с Черустей поезд не нагрязнул, его б фонари далеко видать, а с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных - без огней и задом. Почему без огней -- неведомо, а когда паровоз задом идет -- машинисту с тендера сыплет в глаза пылью угольной, смотреть плохо. Налетели - и в мясо тех троих расплющили, кто между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбились, и паровоза оба набок.

-- Да как же они не слышали, что паровозы подходят?

-- Да трактор-то заведенный орет.

-- А с трупами что?

-- Не пускают. Оцепили.

-- А что я про скорый слышал... будто скорый?...

-- А скорый десятичасовой -- нашу станцию с ходу, и тоже к переезду. Но как паровозы рухнули - машинисты два уцелели, спрыгнули и побежали назад, и руками махают, на рельсы ставши - и успели поезд остановить... Племянника тоже бревном покалечило. Прячется сейчас у Клавки, чтоб не знали, что он на переезде был. А то ведь затягают свидетелем!... Незнайка на печи лежит, а зайку на веревочке ведут... А муж Киркин - ни царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрена-Матренушка!...

.....

...она не скопила имущества к смерти... Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы...

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша.

Героиня рассказа — не выдуманный писателем персонаж. Автор пишет о реальном человеке — **Матрене Васильевне Захаровой**, у которой он жил в 50-е годы. В книге Натальи Решетовской «Александр Солженицын и читающая Россия» помещены сделанные Солженицыным фотографии Матрены Васильевны, ее дома, комнаты, которую снимал писатель.

К.Симонов

Дом друзей

Дом друзей, куда можно зайти безо всякого,
Где и с горя, и с радости ты ночевал,
Где всегда приютят и всегда одинаково,
Под шумок, чем найдут, угостят наповал.
Где тебе самому руку стиснут до хруста,
А подарок твой в угол засунут, как хлам;
Где бывает и густо, бывает и пусто,
Чего нет - того нет, а что есть - пополам.
Дом друзей, где удач твоих вовсе не ценят
И где счет неудачам твоим не ведут;
Где, пока не изменишься сам,- не изменят,
Что бы ни было - бровью не поведут!
Где, пока не расскажешь, допросов не будет,
Но попросишь суда - прям, как штык, будет суд;
Где за дерзость - простят, а за трусость - засудят,
И того, чтобы нос задирали, не снесут!

Дом друзей! - в нем свои есть заботы, потери -
Он в войну и с вдовством, и с сиротством
знаком,

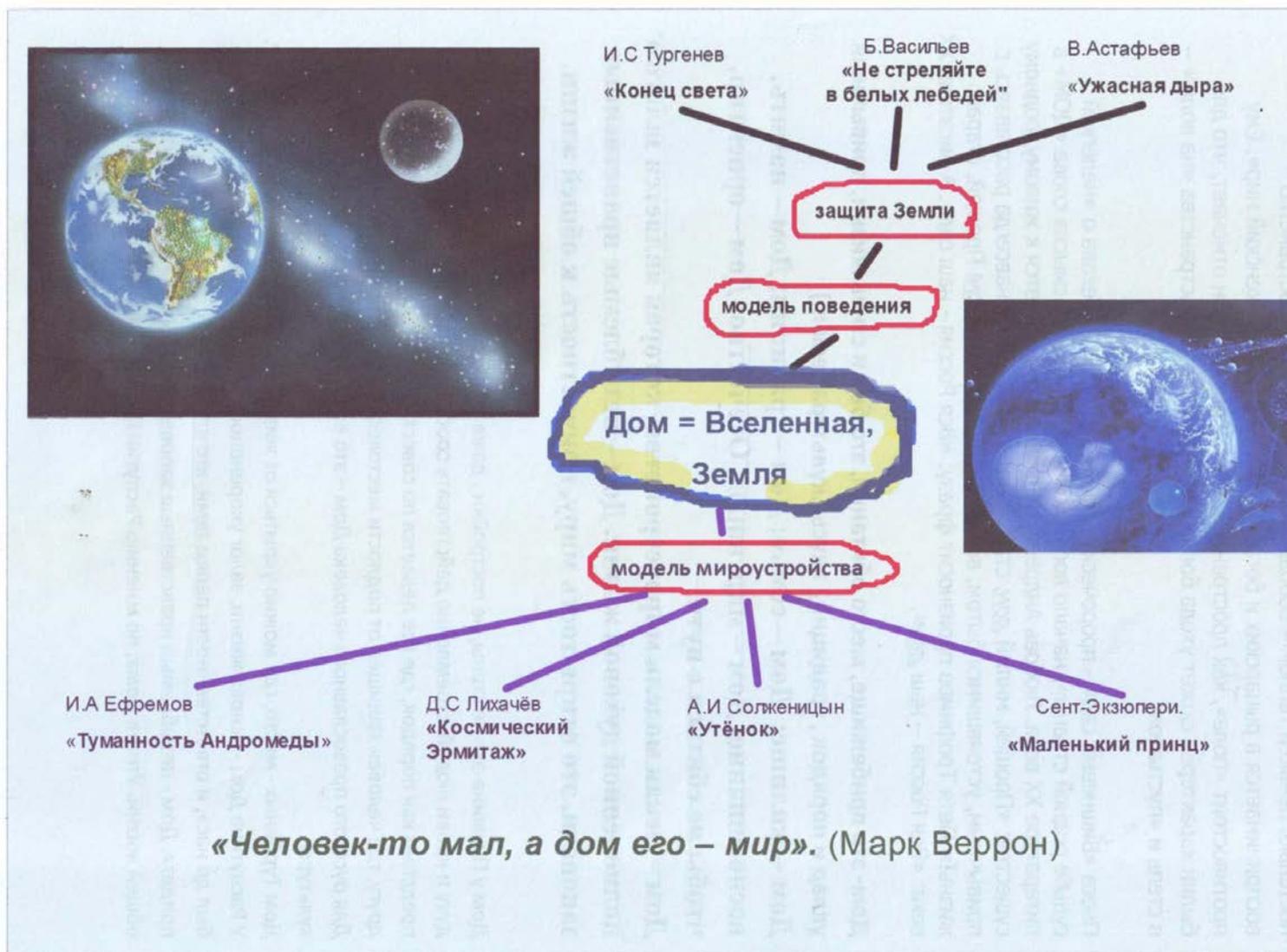
Но в нем горю чужому открыты все двери,
А свое, молчаливое,- век под замком.

Сколько раз в твоей жизни при непогоде
Он тебя пригревал - этот дом, сколько раз
Он бывал на житейском большом переходе
Как энзэ - как неприкосновенный запас!

Дом друзей! Чем ему отплатить за щедроты?
Всею любовью своей или памятью, всей?
Или проще - чтоб не был в долгу у него ты,
Сделать собственный дом тоже домом друзей?

Я хотел посвятить это стихотворенье
Той семье, что сейчас у меня на устах,
Но боюсь - там рассердятся за посвященье,
А узнать себя - верно узнают и так!

ДОМ-ВСЕЛЕННАЯ



ПРИСЛУШАЕМСЯ К МУДРЫМ...

Д. Линн. («Священное пространство»). Дом — это больше, чем комфортное и безопасное пространство. Это место, где вы можете встретиться лицом к лицу со вселенной. Это точка пересечения пространства и времени, которая принимает энергию или отражает её. (

Хелен Келлер. Для меня весь мир – моя родина, и всякая война ужасает меня, как кровопролитие в моей семье.

СОВЕТУЮ ПРОЧИТАТЬ...
ДОМ – ВСЕЛЕННАЯ

Д.С.Лихачев.

Письмо сорок пятое
(из книги «Письма о добром и прекрасном»)

Космический Эрмитаж

Когда-то, примерно десятка два лет назад, мне пришел в голову такой образ: **Земля – наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве.** Потом я обнаружил, что этот образ одновременно со мной пришел самостоятельно в голову десяткам публицистов. Он настолько очевиден, что уже рождается избитым, шаблонным, хотя от этого и не теряет в своей силе и убедительности.

Дом наш! Но ведь Земля – дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас! Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев (ах, если бы примерно сосчитать, сколько было на земле только одних всеми признанных гениев!). И не только произведений гениев! Сколько обычаев, милых традиций. Сколько всего накоплено, сохранено. Сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности.

И самое главное: второй другой жизни во Вселенной нет! Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру, что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные («ответные акции»)!

Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве!

Н.А. Заболоцкий

Моя мечта.

Когда вдали угаснет свет дневной
И в чёрной мгле, склоняющейся к хатам,
Всё небо замирает надо мной.
Как колоссальный, движущийся атом,

В который раз меня манит мечта,
Что где – то там, в другом углу Вселенной,
Такой же сад и та же темнота,
И те же звёзды в красоте нетленной

С.В. Михалков

Слово Земли

Вращаясь в космосе, в плену своей орбиты,
Не год, не два, а миллиарды лет,
Я так устала, плоть моя покрыта
Рубцами ран – живого места нет.
Терзает сталь моё земное тело,
И яды травят воды чистых рек,
Всё то, что я имела и имею,
Своим добром считает человек.
Мне не нужны ракеты и снаряды,
А ведь на них идет моя руда!
И что несёт с собой открытье атомного ада?
Его подземных взрывов череда?

К чему же в жизни люди так стремятся,
Что позабыли о самой Земле?
Ведь я могу погибнуть и остаться
Обугленной песчинкой в дымной мгле.

Не потому ли, загораясь мщеньем,
Я против сил безумных восстаю
И, сотрясая твердь землетрясеньем,
На все обиды свой ответ даю?

И не случайно грозные вулканы
Выплёскивают с лавой боль Земли.
Очнитесь, люди!.. Призовите страны,
Чтобы меня от гибели спасли!

А.Сент-Экзюпери

**Маленький принц
(фрагменты)
IV**

Так я сделал еще одно важное открытие: **его родная планета вся-то величиной с дом!**
Впрочем, это меня не слишком удивило. Я знал, что, кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни других и среди них такие маленькие, что их даже в телескоп трудно разглядеть. Когда астроном открывает такую планетку, он дает ей не имя, а

просто номер. Например: астероид 3251.

.....
V

Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Он рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.

Это тоже вышло из-за барашка. Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:

- Скажи, ведь, правда, барашки едят кусты?

- Да, правда.

- Вот хорошо!

Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. Но Маленький принц прибавил:

- Значит, они и баобабы тоже едят?

Я возразил, что баобабы - не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и, если даже он приведет целое стадо слонов, им не съесть и одного баобаба.

Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:

- Их пришлось бы поставить друг на друга...

А потом сказал рассудительно:

- Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.

- Это верно. Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?

- А как же! - воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.

И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело.

На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. Но ведь семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает

проснуться. Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. И вот на планете Маленького принца есть ужасные, зловредные семена... это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если баобаб не распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. Он завладеет всей планетой. Он пронизет ее насквозь своими корнями. И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.

- Есть такое твердое правило, - сказал мне позднее Маленький принц. - Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету.

А.И.Солженицын

Утёнок (из книги «Крохотки»)

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть не падая с тонких своих ножек, бегаёт передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои все?»

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик — перевёрнутую корзину без дна — отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони.

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные — как бусинки, ножки — воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. А между тем — тёпленький. И клювик его бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и жёлт в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился характером.

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся — за двадцать минут целый мир перепашем.

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького жёлтенького утёнка...

**Ужасная дыра
(из книги «Затеси»)**

Превращая страну в помойку, в отвальный овраг для радиационного и всякого другого заразного и губительного мусора, небо — в темную адскую завесу, — и все это во имя спасения нас, бедных, хозяева отечества нашего породили совершенно наплевательское отношение народа к себе и к своей земле. И чем дальше вглубь тем неряшливей, грязней наша белая Русь. Паршой и ржавчиной она покрыта, гибнущим лесом завалена, прокислой, гнилой водой рукотворных морей залита...

Во всех цивилизованных странах чем дальше вглубь, тем дальше от дыма, гама, вони — там и экзотика своя, и продукты дешевле, и редкие фрукты иль овощи произрастают свои, здешние блюда готовятся иль хлеба пекутся. У нас же чем дальше, тем больше заразы, дикости и жрать совсем нечего.

Вот среди Сибири, на берегу Енисея, в роскошнейшем месте расположен поселок Бор. Здесь и грязи-то негде быть — пески желтые кругом, сосняки и боры сплошные, а по поселку ни проехать, ни пройти — загадили его жители, завалили мусором, облили дерьмом. Возле двухэтажного деревянного дома, смело названного гостиницей, где нет даже умывальника, стоит сооружение все в деревянной резьбе, в нарядных деревянных кружевах и, конечно же, называется оно «Кафе», хотя кофе здесь со дня его сотворения не бывало и нет, зато наливают мутную воду в непромытые стаканы, именуя ее чаем, да бросают в оконце блюдо с загадочным названием «глазунья» — шлепают яйцо на грязную сковородку и, не глядя, испеклось оно или нет, велят брать. Но и эта работа утомила пищеблок, блюдо упростили: в грязный бак с грязной водой вываливают ведро немытых яиц, и колотые, порой черные, вонючие, приказывают брать — подавать тут не снисходят, разве что хлеба буфетчица нарежет, да и то крупно, раскрошено. Коли хочешь жрать — не разговаривай! Мы-то тут при чем? Нам что дают со склада, то мы и реализуем.

Слава Богу, хоть в «Кафе» этом зеркал нет. А то в одном занюханном кафе в пригороде Красноярска, с грязными стеклами и колотыми столами — потолок зеркальный, стены из дорогого пятнистого, пиленого гранита — кажутся облеванными, какие-то дыроватые сооружения, создающие впечатление недостроенного помещения, преграждают путь. По идее-то это не что иное как архитектурные украшения — помещение строили заезжие армяне и пытались свой южный, броский стиль совместить со скромным а-ля рус.

Борское кафе зато с петухами и кружевами; вместо зеркал, дыроватых каменных завитушек всунуты в помещение скамьи, сотворенные под русскую старину, подле них пластиковые, шаткие столики, от мокра и грязи потрескавшиеся. Ходит уборщица с тряпкой, материт столующихся за неряшливость, тычет тряпкой в стол так: норовит сор и мокро на штаны клиентов смахнуть.

Вокруг Бора еды от веку до полна всякой растет, цветет, бегают, летает, плавают. Есть приемные пункты, куда свозятся ягоды, сдается дичь, мясо оленей и лосей, изловленная рыба — ну, пошевелитесь, люди, посообразайте, найдите предпринимателей, смените всех злых и вороватых работников пищеблока на радушных и оборотистых — и все у вас будет в полном порядке, все будут довольны друг другом — и столующие, и столующиеся. Неужто нужен специальный указ президента России и губернатора края о налаживании работы кафе в поселке Бор и ему подобных «рыгаловок». Налаживая работу, попутно не забудьте переименовать свой пищеблок на что-нибудь понятное и близкое народу — в харчевню, трактир, кабак. Неужели никто и не чувствует, что чужое, пусть и изящное слово «кафе» звучит издевательски на дверях этих облеваных, проматеренных, пустых, грязных, ко всему равнодушных, размалеванных дыр.

Почти все отдаленные порты и вокзалы, железнодорожные, автобусные, речные и прочие во глубине Сибири, да и не только в ней — это непереносимо страшные дыры, однако такой ужасной дыры, какая находится «во глубине сибирских руд», на дивном по красоте притоке Енисея, реке Сым, больше нет. Здесь влачит жалкое существование самая выдающаяся дыра под названием Сымская фактория. У этой дыры соответствующий «аэровокзал». У нас проводится много всяких конкурсов, вот если бы кто-то из веселых людей объявил конкурс на самую оскорбительную для рода человеческого обитель, то Сымский аэропорт без всякого сомнения, без

всяких голосований занимал бы всегда первое место среди препаскуднейших наших бытовых заведений.

С неба, с вертолета это смотрится так: река в белых, словно бы пеной молока облитых берегах, излуцина с высыпкой тальниковых рощиц на правом берегу, и по-за нею лес, сперва темной, прибрежной каймой опоясывая берега, затем ровным, в небо уходящим валом лазоревого цвета, разъятым то старицей, то озеринной, то проранами самих себя забывших, сонных рыжих болот; в загогулине излучины, на подмытом сыпучем берегу — россыпью избы со дворами и бедными даже по расцветке огородами. Одна изба зависла над рекой, не вся изба, половина ее. Весна была разливистая, многоводная, роняла на берегах деревья и кусты, несла их лохматые, корнями вверх, будто плененно вздымающиеся руки в мольбе. В поселке, с каждым годом отступающем в глубь песчаных лесов, река смыла несколько сараев и один дом почти унесла — завис он над водой, вот-вот завалится вместе со своей худобой, разнесет его, разбросает по берегам.

После запойных майских праздников хозяин вышел из дома помочиться, постоял, справляя нужду в реку, затылок почесал, думал, думал и додумался: взял бензопилу и половину избы отрезал. Она разломилась, забусила гнильем, пылью, перхотью старого сена и веников и, хряпнувшись в реку, закружилась в водовороте, роняя одно по одному бревно, оконные рамы, нужники и скворечники. Так строение и унесло за поворот Сыма, вдаль. Хозяин постоял, подышал, пустил еще раз презрительную струю в бурные воды Сыма, резанул на всю округу удовлетворенно, подпернул штаны и пошел допивать брагу.

Все домишки поселка, отскочившие от подмытого берега, стоят в сыпучем белом песке, среди поврежденных сосенок, в корье, щепе по колено, будто скинули с костлявого тела одежонки на просушку.

В версте или в двух от села видна просторная поляна в белых полосах и вымоинах — это взлетное поле, обочь которого без оград и ворот, вольно стоят амбар и кособокая избушка, похожая на баню,— избушка та и есть аэровокзал. Было в ней когда-то окно со стеклом, да выбили его умельцы, теперь вместо стекла пришпилен мутный полиэтиленовый мешок. В самом же помещении все без затей, без архитектурных излишеств: две скамьи, прибитые к стене, стол на укосинах да железная печка с сорванной дверцей. Гвоздь на двести миллиметров вбит в стену — вешалка. И сору, сору!.. Окурки, железные пробки от бутылок, ореховая скорлупа, ощепки, рванный кед, осколок бутылочного и всякого иного стекла, клочья мятой бумаги — все это прямо на земле — пол в избушке давно сожжен, ведь иной раз из-за непогоды или технических прорух на авиалиниях здесь приходится сидеть сутками.

Самолетик ходит в Сымскую факторию раз в неделю, вертолеты залетают чаще. Да до конца лета и осени здесь летать-то особенно некому и незачем, но с начала грибной и ягодной поры валом валят на Сым шабашники, бродяги, девицы, перекупщики, начальственный народ со своей техникой. Промысловый народ встречается тоже, гребет грибы-боровики, диковинно здесь плодящиеся, кто может, сушит их или маринует, кто на катерах, на лодках — плавают — всем добра хватает. С сентября на Сыме наступает ягодная пора и ореховая, есть приемный пункт, где и деньги за дикоросты выдаются сразу же.

Выпивки в поселке никогда не хватает, сшибившие же деньгу налетчики жаждут сей же час честно заработанное прокутить. А тут ни самолета, ни вертолета. От скуки и тоски режут на столах и скамейках матерщину, оставляют памятные именные знаки, иногда — мудрейшие изречения и целые поэтические опусы остаются на века запечатанными, впечатанными в тесаное бревно.

Вот один из поэтических перлов, украшающих сымский авиационный приют:

*Сымский порт — ужасная дыра,
Раз в неделю ходит самолет,
В магазине нету ни хера
И вина Назаров не дает.*

Э-эх, Россия — мати, тех ли ты Божиих чад ждала и селила на своих просторах, в своем доме?
Иль тебе, больной, израненной, истерзанной — уж все равно?

И.С.Тургенев.

Конец света

Сон

(стихотворение в прозе)

Чудилось мне, что я нахожусь где-то в России, в глуши, в простом деревенском доме.

Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; мебели нет. Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; серое, одноцветное небо висит над нею как полог.

Я не один; человек десять со мною в комнате. Люди всё простые, просто одетые; они ходят вдоль и поперек, молча, словно крадучись. Они избегают друг друга – и, однако, беспрестанно меняются тревожными взорами.

Ни один не знает: зачем он попал в этот дом и что за люди с ним? На всех лицах беспокойство и унылость... все поочередно подходят к окнам и внимательно оглядываются, как бы ожидая чего-то извне.

Потом опять принимаются бродить вдоль и поперек. Между нами вертится небольшого роста мальчик; от времени до времени он пищит тонким, однозвучным голоском: «Тятенька, боюсь!» – Мне тошно на сердце от этого писку – и я тоже начинаю бояться... чего? не знаю сам. Только я чувствую; идет и близится большая, большая беда.

А мальчик нет, нет – да запищит. Ах, как бы уйти отсюда! Как душно! Как томно! Как тяжело!... Но уйти невозможно.

Это небо – точно саван. И ветра нет... Умер воздух, что ли?

Вдруг мальчик подскочил к окну и закричал тем же жалобным голосом:

– Гляньте! гляньте! земля провалилась!

– Как? провалилась?!

Точно: прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы! Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная круча.

Мы все столпились у окон... Ужас леденит наши сердца.

– Вот оно... вот оно! – шепчет мой сосед.

И вот вдоль всей далекой земной грани зашевелилось что-то, стали подниматься и падать какие-то небольшие кругловатые бугорки.

«Это – море! – подумалось всем нам в одно и то же мгновение. - Оно сейчас нас всех затопит... Только как же оно может расти и подниматься вверх? На эту кручу?»

И, однако, оно растет, растет громадно... Это уже не отдельные бугорки мечутся вдали... Одна сплошная чудовищная волна обхватывает весь круг небосклона.

Она летит, летит на нас! Морозным вихрем несется она, крутится тьмой кромешной. Всё задрожало вокруг – а там, в этой налетающей громаде, и треск, и гром, и тысячегортанный, железный лай...

Га! Какой рев и вой! Это земля завывала от страха...

Конец ей! Конец всему!

Мальчик пискнул еще раз... Я хотел было ухватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, погребены, потоплены, унесены той, как чернила черной, льдистой, грохочущей волной!

Темнота... темнота вечная!

Едва переводя дыхание, я проснулся.

Март, 1878